

МАРСЕЛЬ МАРКЕ

МАРКЕ

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»



1 p. 07 к.

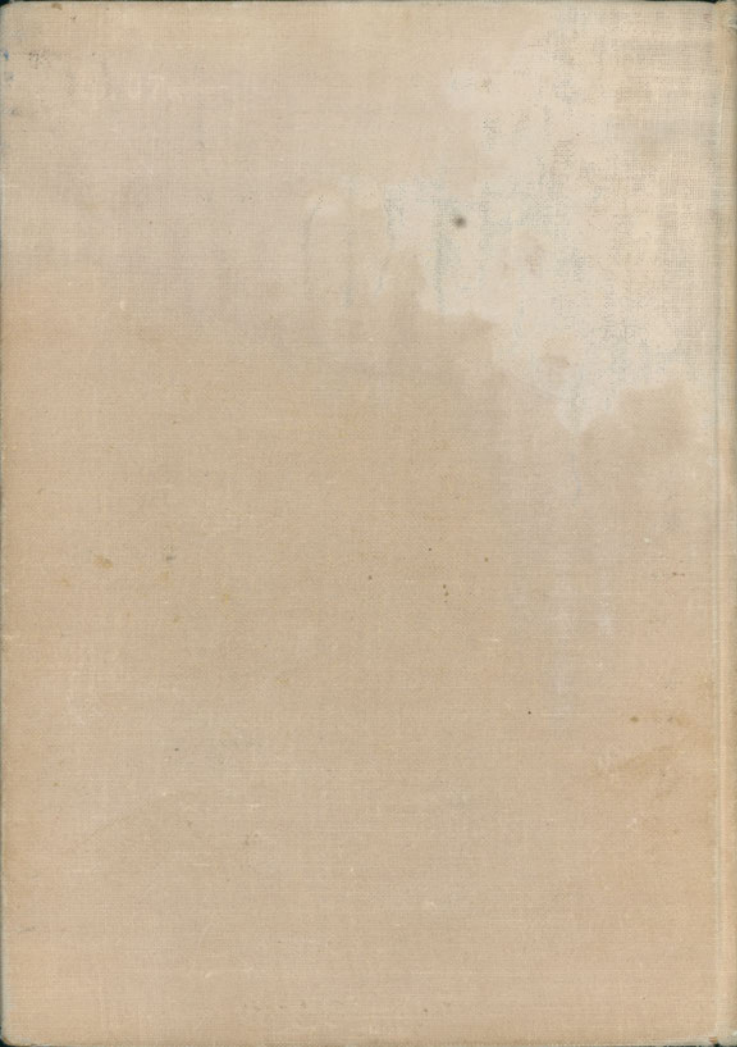
Книга написана французской писательницей Марсель Марти (Марке), вдовой известного художника Альбера Марке, вскоре после его смерти в 1947 году. Документальные биографические данные помогают создать глубокую характеристику Марке как человека и проникнуть в творческий процесс художника.

Подобно талантливым зарисовкам с натуры, перед читателем проходят воспоминания о многочисленных путешествиях то к норвежским фьордам, то к берегам Нила. Живо и ярко воспроизведены художественная среда Парижа, друзья Марке.



МАРСЕЛЬ МАРКЕ • АНДЕР АЛ...



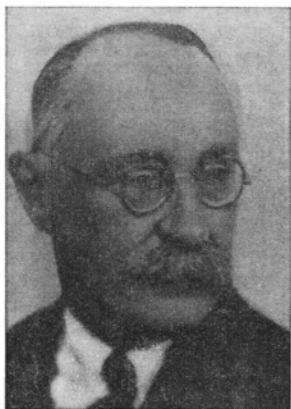


СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»

МОСКВА 1969



МАРСЕЛЬ МАРКЕ

АЛЬБЕР МАРКЕ

75К
М26

MARCELLE MARQUET
MARQUET
Robert Laffont, Paris, 1951

Перевод с французского,
примечания и послесловие
А. Н. ЗАМЯТИНОЙ
Редактор перевода
Е. А. ГУНСТ

Твои друзья говорят, что я должна что-то о тебе написать, а у меня только одно желание и есть — продолжать жить вместе с тобой, беседовать, прислушиваться к твоим ответам или, как обычно, стараться разгадать твоё молчание. Я все еще не могу поверить в то, с чем они примирились.

Меня не удивило бы, если бы вдруг я увидела, что ты открываешь дверь, осторожно, без шума, — так, как бывало прежде, чуть ли не вчера. Окончив работу, ты приходил взглянуть, что делаю я. Читала ли я, писала, пила или принимала солнечную ванну, ты знал, что никогда мне не помешаешь и что всегда я с готовностью брошу все, буду с тобой, и мы отправимся куда вздумается: в деревню, на улицы Парижа или другого города, всюду чувствуя себя дома, потому что мы вместе.

Мы шли молча, или же я рассказывала тебе всякие истории и была довольна, если ты смеялся, еще больше — если ты улыбался; как была я довольна, когда ты спрашивал моего мнения или совета, как была довольна, чувствуя, что ты доверяешься мне, что ты целиком со мной!

В эти последние шесть месяцев все мои чувства были словно раздавлены, задушены, я была в каком-то забытьи, но я согласилась бы пережить все снова. Ты знал, я тоже. Ты знал, что я знаю; я знала, что ты знаешь, и мы обманывали друг друга словами короткими, убогими и неловкими. Когда я клала голову тебе на колени, ты понимал, что я прошу у тебя помощи, и ночью, взявшись за руки, прижавшись друг к другу, мы стремились найти единую силу для сопротивления.

Ты знал, но, как и я, отказывался в это верить, и мы цеплялись за малейший положительный признак: чуть усилился аппетит, чуть лучше стал сон. Эти удачные дни как бы обещали нам, что мы дождемся наконец спасительного открытия. Ведь в лабораториях всего мира искали лекарства от недуга, с которым мы никак не могли справиться. Мы об этом знали, и это поддерживало нашу надежду. Ты говорил мне осторожно, будто извиняясь, будто чувствуя какую-то вину передо мной: «С каждым днем меня все больше одолевает усталость». Когда ты спал, я прислушивалась: «он дышит спокойно, он не стонет» — и я убеждала себя в том, что все становится возможным, когда любяшь. Почему бы не передать ему часть своей жизни? И я сосредоточивала все свои душевные силы в порыве к тебе.

Мне все еще случается упрекать себя в том, что я не сумела хорошенько напирать свою волю: я стараюсь понять, где начался тот сдвиг, который привел меня к такому крушению.

И все произошло так, как должно было произойти: однажды утром ты склонил голову мне на плечо и, казалось, уснул. Ты был измучен, ты просил пощады. Я сделала тебе укол, и твоя рука, скользя по моей щеке мне на руку, замерла.

Я почувствовала, что ты смирился и что все должно свершиться в доверии и примиренности, без сопротивления и бунта.

Возмущение почувствовала уже я одна — позже.

II

14 июня 1947 года французское радио сообщило о смерти Альбера Марке. Замкнулся круг, кончилась человеческая жизнь; как свидетельство о ней и ее утверждение остались картины в музеях, в частных собраниях и в его мастерской.

Его друзья тотчас же настоятельно обратились ко мне: «Вы должны помочь нам лучше его узнать, вы прожили двадцать шесть лет его жизнью. Мы надеемся, что вы нам расскажете о нем».

Возможно, что они говорили это, чувствуя мою растерянность, и из жалости старались создать цель для моей опустошенной жизни. А может быть, они и в самом деле хотели узнать о нем больше.

Как эхо слышался мне твой голос:

«У меня нет другого средства выражения, кроме живописи и рисунка. Смотрите. Если вы меня не поймете — это значит, что мне не удалось высказаться или что вам не дано понять. А я не могу сказать ни больше, ни по-другому. Я сделал как мог лучше».

А если так, то стоит ли мне писать? Я долго колебалась, ведь я так устала, была в такой безнадежности! Однако несколько месяцев спустя мне случилось быть у Матисса — старого друга первых горестных часов, — и он неоднократно возвращался к одной и той же тревожившей его мысли: «Сохранил ли Марке до конца свою дружбу ко мне?» Вдохнув, он прибавил: «К нему так трудно было подойти!» Я медленно возвращалась домой, преследуемая этими словами, думая о том, что мне, конечно, надо попробовать написать, — не для того, чтобы что-нибудь прибавить, но чтобы внести какую-то ясность.

Я спрашивала себя: «Разве действительно так трудно было к нему подойти?» И я вдруг почувствовала тебя рядом с собой так ощутимо, что готова была продолжить только что прерванный разговор с тобой.

Двадцать шесть лет общей жизни. Знание, терпеливо воздвигнутое день за днем благодаря большой внимательности. Альбер Марке был так нетребователен, что рассеянная женщина могла бы забыть о его присутствии. Если он был не один в комнате, то, как бы ни озяб, не стал бы закрывать окна, потому что это могло обидеть того, кто их отворил. Он не пользовался никакими льготами, на которые имел право, всегда платил за вход в музеи, он не присваивал себе никаких особых преимуществ, и если ему было не по себе, он молча прибегал к единственному средству защиты — уходил, захватив с собой ящик с красками и альбомы для набросков. Принявшись за работу, он тотчас оказывался в своем особом мире, целиком ему принадлежащем.

Двадцать шесть лет — это же было вчера! Нас познакомили друзья. Я тогда не знала, чем он занимается, и живопись мало меня интересовала. Я была обязана ей лишь одним недавним потрясением: открытием Ренуара во время случайного посещения музея; оно было для меня подобно поднятию занавеса над жизнью яркой, полной и сочной. Я таила это впечатление в себе. И вот я очутилась перед Марке, маленьким, с виду застенчивым и как бы растерянным. Он приводил и меня в замешательство, так мале походил он на людей, которых я до тех пор знала. Я водила его по улицам и дорожкам Алжира; он говорил мало, больше улыбался. Весной он уехал и вскоре прислал мне книгу Жоржа Бессона со своим наброском и посвящением: «Мадемуазель Мартинё, весьма дружественно». Я была удивлена тем, что ему захотелось лучше познакомиться меня с собой. Перед отъездом он уже подарил мне маленькую картину, завернутую в старую газету. Он приехал еще раз, потом вторично, а с третьего приезда мы больше не расставались.

В последние дни жизни на мой робкий вопрос: «Я тебя никогда не стесняю?» — как легко и просто ты ответил не раздумывая: «Никогда. В твоём присутствии я могу оставаться наедине с самим собой».

Я почувствовала удовлетворение, но в нем была и доля горечи — ведь мы приближались к концу нашего пути. Однако я не потеряла времени даром.

Альбер пришел ко мне (не могу не вспомнить об этом) с горькой складкой в углах рта, и в глазах его зачастую светилась грусть. Мне казалось, что ему хочется забыть какое-то горе, вернуть какую-то надежду. «Я всегда ожидаю наихудшего», — сказал он мне, когда первый раз уезжал из Алжира. Но понемногу он избавлялся от своей боязни и становился доверчивее. Альбер Марке не был речист! Это знают все его друзья, а наша служанка, обожавшая потрясающие истории, использовала эту его черту по-своему. Рассказав что-нибудь из ряда вон выходящее, она в заключение прибавляла:

— Вот тут бы и месье сказал свое слово!

Точно так же поступала и я в течение всей нашей совместной жизни. Альбер подтрунивал надо мной:

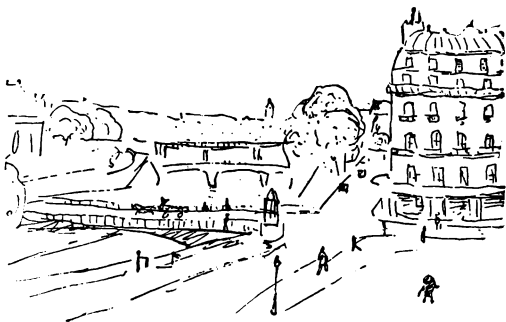
— Заметь, я ничего не сказал. Это мнение, которое ты мне приписываешь. Не забывай, что все это — твой домysel.

Однако когда я попадала в цель, это было заметно по блеску его глаз, и хотя мне так и не удалось вскрыть ему череп (я часто говорила, что мне этого хочется) — мы отлично понимали друг друга.

Не речист, — но то, что у него вырывалось, было всегда словом верным, замечанием колким, и не оставалось ничего другого, как только согласиться с ним. Прибавлять было нечего, вопрос оказывался исчерпанным. Марке был на редкость проныцателен, а краткое его слово было подобно его рисунку, сведенному к самому существенному, где нет ничего лишнего и ничего недосказанного. Он ненавидел витиеватость, он избегал многословия — в силу своей прямоты. Он страшился объяснений, считая их праздными, и никогда не говорил ни о себе, ни о своем прошлом. Он нес это прошлое в себе, он сделал его своей сущностью, питал им настоящее; звено следовало за звеном, образуя цепь, крепкую своей непрерывностью.

То, о чем я расскажу ниже, я узнала методом упомянутой служанки или из признаний верных друзей семьи.

Альбер родился накануне официально указанного дня своего рождения, то есть 26 марта 1875 года, а не 27-го. Его отец, человек неторопливый, забыл вовремя заявить в мэрии о рождении сына и, чтобы избежать штрафа, который ему грозил за такую рассеянность, решил омолодить сына на сутки. Я узнала об этом в тот день, когда Люсьен Менсье, астролог-любитель, установил расположение светил в день рождения Марке и сказал ему:



— Любопытно: ничто в вашей жизни не соответствует тому, что я вижу, но все стало бы на место, если бы вы родились накануне.

Альбер, пораженный, отвечал:

— Я и в самом деле родился накануне; моя мать всегда об этом говорила.

Мать Альбера, женщина маленькая, тоненькая, живая, остроумная и веселая, сыграла большую роль в его жизни. Он об этом не распространялся. Он продолжал, однако, со спокойным упорством следовать по пути, который она ему открыла; тем самым он оставался ей верен. У него были ее портреты, рисунки, памятные вещи; он о них никогда не говорил, но, оставшись одна в нашем доме, я нашла на самом дне стенового шкафа, в маленькой стальной шкатулке, запертой на ключ, принадлежавшие ей ленту и пряжку от пояса, а также письма, которые я ему писала. Если бы я умерла первая, он также не говорил бы и обо мне.

Какая странная стыдливость его удерживала? Неужели суровые годы юности до такой степени в нем запечатлелись? Он выжил, хотя часто ему приходилось недоедать, и в эти трудные

времена он без колебания отдавался целиком рисованию и живописи, то есть делал то, что любил. Один из его друзей мне рассказывал, как однажды он застал Альбера и его мать за завтраком, — они ели без хлеба отварную чечевицу. Без хлеба... В то время — около 1900 года — для этого нужно было быть очень бедными; но мать, уверенная в призвании сына, была непоколебима. Она доверяла ему с самого детства — еще тогда, когда он ползал на четвереньках, — а он долго не начинал ходить, — и когда рисовал на полу куском угля, а потом в школе на полях тетрадей, хотя делать этого не полагалось и такие рисунки не поощрялись.

Альбер Марке был плохим учеником всюду, где проходил курс, от коммунальной школы до Школы изящных искусств, и получалось это у него отнюдь не нарочно — у него были самые лучшие намерения. Он не виноват, что увлекался такими вещами, которые никого больше не интересовали, и что застенчивость мешала ему быть откровенным. Он никогда мне не говорил об этом, и, как тесно ни были мы с ним связаны, мы никогда даже не намекали на это, но он очень страдал оттого, что был создан не таким, как все. По характеру живой и шаловливый, он охотно бегал бы, дрался, лазил по деревьям, прыгал через заборы. На каникулах, на берегу Аркашонского залива, родине его матери, он вместе с крестьянскими ребятишками пас коров. Он прихрамывал и был близорук, однако начал носить очки лишь в пятнадцать лет, немного поздно. Конечно, ему приходилось терпеть от своих озорных товарищей обидное любопытство и вызовы, которых он не мог принять. Придя домой, он никогда не жаловался. Он неистовствовал, сжимал кулаки, сдерживал слезы; его матери выпало на долю достаточно забот и огорчений. Пытка — школьная перемена, пытка — урок в классе, потому что у него был учитель, который его совершенно не понимал. Ах, этот учитель! Вот единственная ненависть, которую Марке носил в сердце; даже в шестьдесят лет и позже он не мог говорить о нем без дрожи в голосе:

— Перед лицом этого человека я познал жажду убийства. Не чувствуй я себя таким слабым...

Я представляю себе этого «надсмотрщика над каторжниками» (по выражению Альбера), ограниченного, грузного, краснолицего, с самоуверенным взглядом, и перед ним — тебя, моргающего, ослепленного, охваченного мыслями и переживаниями, которые обременяют тебя, потому что ты еще не знаешь, как

от них освободиться. Он разглагольствовал, он угрожал, он предрекал тебе всякие напасти; он брал в свидетели безжалостных мальчишек. А ты был один, такой маленький и неловкий! Он захлебывался от важности и считал тебя дурачком, а так как ты никогда не отвечал, он подло пользовался этим, не замечая ненависти, от которой черствело твое сердце, сердце горючего ребенка.

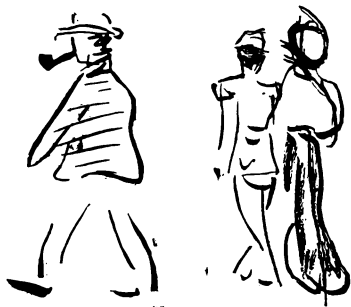
«Из-за него я в двадцать лет готов был взорвать все на свете», — признавался Марке.

Из-за него в ранние рисунки Альбера проникла какая-то мстительная ярость.

Альбер нашел себе убежище вне дома и школы: в порту Бордо. Он проводил там все минуты, которые мог улучшить, чтобы жадно вглядываться в игру неба и воды, следить за прибытием и уходом судов, за движением людей, которые хлопотуют, карабкаются, торопятся, сбегают с палуб грузовых судов на загроможденные набережные или останавливаются для оживленных разговоров, то беглых, то подкрепляемых жестами, мимикой, покачиванием тела, пожатием плеч. Он проскальзывал между тюками и бочонками, приближался, чтобы уловить взором пляшущий отблеск, линию, движение. Потом спешил в обратный путь, боясь, как бы его не стали бранить за опоздание, которому он не мог дать объяснения, потому что он еще сам не знал тогда, что делает с той жатвой впечатлений, которую уносил с собой. Он не знал, жатва ли это, но он чувствовал, что, смешиваясь с жизнью порта, он живет мгновениями насыщенными и правдивыми, единственными за весь день, которые находят в нем отклик.

Сознавала ли все это его мать, хотя он и не мучил ее признаниями? Все хорошенько взвесив, тщательно обдумав и зная своего сына так, как она его знала, мать рассудила, что должна покинуть Бордо и увезти его в Париж. Вероятно, ей было очень трудно убедить своего мужа. Уехать легко, но как жить там? Когда-то еще мальчик сможет зарабатывать себе на жизнь? Ему нужно ремесло. К чему его приведет умение рисовать и писать? К тому, что он подохнет с голоду? Кончит под мостом? Отец Альбера умер достаточно рано, чтобы до конца верить в правильность своих предвидений. Во всяком случае, для него, железнодорожного служащего, не могло быть и речи о том, чтобы незадолго до пенсии все бросить и пуститься в приклю-

чение. Жена держалась стойко. Она верила в одаренность сына и по собственному опыту могла понять увлечение рисованием, которому тот отдался. Она сама в школьные годы иллюстрировала сказку, которую написала для своих подруг. Позже она сочинила песню про женщину, которую недолюбливали в их деревне. По жалобе обиженной родителями пришлось заплатить штраф за несовершеннолетнего автора, но вся деревня разучила и напевала крамольную песню. Альберу было от кого унаследовать лукавую иронию. Мать находила ответ на самые резонные возражения против задуманного переезда. Выучась рисовать, их сын получит доступ к различным специальностям (она подразумевала художественное ремесло), и только в Париже может он найти мастерскую, учителей, а впоследствии и должность. Но как дожить до этого? Ей оставалось только продать свое имущество,— правда, не слишком большое. Клочок земли у Аркашонского бассейна да домишко в Тейше,— но этого хватит, чтобы купить небольшую лавочку, например, для торговли кружевами, ажурной строчкой, пуговицами и вышивкой. Она там будет на месте, она ловкая, умеет шить и вышивать, кроме того, она бережлива и давно научилась выходить из затруднений. В конце концов ее дело выиграло: мать и сын покинули Бордо и поселились в Париже, в доме № 38 по улице Монж, где они прожили несколько лет доходами с лавочки, о которой мечтали.



Альбер поступил в Институт декоративных искусств; там он познакомился с Матиссом¹, который сразу прельстил его твердостью характера; однажды Матисс, войдя в аудиторию в шляпе и получив за это замечание, спокойно ответил: «Я сниму шляпу, когда не будет сквозняка». И он предпочел уйти, чем уступить. Подобная забота о своем здоровье в расцвете молодости, такая солидная манера самоутверждения окончательно покорили застенчивого Марке.

Матиссу был двадцать один год, а ему — пятнадцать. Альбер был молчалив, он стеснялся своего бордосского выговора, который грозил навлечь на него лишние насмешки. Вдобавок он носил очки — редкость по тому времени, и его товарищи, уверенные, что он не поймет, в чем дело, по очереди подходили к нему с издевкой:

— И не стыдно тебе, англичанин? Ведь ты предал на сожжение Жанну д'Арк!

Он не оправдывался. Всю свою жизнь он предоставлял людям блуждать по ложным следам, истолковывать, как им благорассудится, то, что они открывали в нем, в его полотнах и рисунках. Шарль-Луи Филипп², у которого Альбер часто бывал, приписывал ему жестокость, а тот и не пытался оправдываться. Альбер не потруился рассказать, что сделало его таким, а так как он сам о себе говорил с безжалостной иронией, никто и не предполагал, что ему хотелось бы быть другого физического сложения.

Я была ошеломлена, когда неожиданно передо мной во всей беспощадности раскрылась тайная мука Альбера. Мы были женаты уже несколько лет, и я спросила его, хотел ли бы он иметь ребенка. Он ответил:

— Нет. Я слишком боюсь, что он будет похож на меня.

И он поспешил заговорить о другом. Мы больше никогда не касались этого вопроса. Он не знал, что я еще до нашего брака придумала целую историю, чтобы объяснить моим родителям причину его прихрамывания.

¹ Анри Матисс (1869—1954) — один из известнейших художников XX века, признанный глава группы «Диких», выступивших в 1903—1905 годах.

² Шарль-Луи Филипп (1874—1909) — писатель демократического направления.

За Институтом декоративных искусств последовала Школа изящных искусств, где единственный учитель, которого Марке вспоминал — Гюстав Моро¹, — называл его «мой близкий недруг». Мэтр никогда не показывал своих собственных работ, и тайна, которой он окружал свое творчество, распаляла воображение молодежи. Он был образован, хорошо воспитан; ученики прислушивались к нему и уважали его. Однажды он довел Матисса до слез, сделав ему замечание.

И вот случилось, что, придя к Гюставу Моро и ожидая в гостинной, Альбер с бьющимся сердцем подошел к оставленной на столе раскрытой книге, вопрошая себя, какой поэт или философ может питать или услаждать мэтра? А это был всего-навсего томик комедий Лабаша!²

Жизнь была в то время суровой, но веселой. В школе — натопленные мастерские, натурщицы, приятели, шутки, потом — копирование в Лувре (по советам Гюстава Моро) Пуссена, Шардена, Веласкеса, Веронезе и особенно Клода Лоррена, у которого Марке старался в утонченных пастелях схватить освещение. Эти копии в настоящее время рассеялись. Одна из них, потемневшая, поврежденная, находится в Андели. «Распятие», преподнесенное теткой Альбера кюре Тейша, было отвергнуто, потому что недостаточно прикрытые персонажи показались неблагопристойными. Вечера проводили сообща у «Прокоша»³, где кофе стоил два су. Его растягивали до полуночи, зарисовывая посетителей, официантов и красоток.

Иногда Альбер увлекал за собой на улицу Камуэна⁴, и они вместе гонялись за прохожими:

— Бросим-ка мастерскую, пойдем порисуем то, что движется за ее стенами.

¹ Гюстав Моро (1826—1898) — художник.

² Эжен Лабаш (1815—1888) — французский драматург, имевший успех в конце 70-х годов; в русском переводе и постановках особенно известна его комедия «Соломенная шляпка».

³ «Прокоп» — кафе на левом берегу Сены, было основано сицилийцем Франческо Прокопио в 1689 году напротив театра Комеди Франсез и служило местом встреч театралов и литераторов в XVII и XVIII веках.

⁴ Шарль Камуэн — живописец, написавший в 1904 году портрет Марке, который находится в Национальном музее современного искусства в Париже.

Если прохожий ускорял шаг и возникала опасность, что он исчезнет раньше, чем набросок будет закончен, Камуэн, как более смелый, окликал его, и тот, обернувшись, смеялся или сердился — сообразно со своим характером. Это была прекрасная пора, пора анархической, увлекающейся молодости. Манген¹ наряжался в широкие бархатные панталоны с напуском и на замечания Марке, который уже тогда не любил привлекать к себе внимание, отвечал:

— Не одеваться же мне, старина, как уличный торговец.

Матисс строго судил о своих товарищах; как-то он стал уговаривать Альбера пойти вместе к одному из них и посоветовать отказаться от живописи, к которой тот не способен; но Альбер ответил на это:

— Не стоит. Он все равно тебе не поверит.

Матисс был убежден в своем собственном успехе. Он говорил о нем, он предвидел реванш. С тех пор, считая Марке непрактичным, Матисс взял его под свое покровительство. Позднее, при первых контрактах с маршанами, он уточнял договоры, которые Альберу предстояло подписать. Нечего было прибавить или убавить, решительно все было предусмотрено, и мне случалось присутствовать при некоторых «уроках» Матисса:

— Ты слишком уступчив. Тебе следует подумать о том-то... не забудь того-то...

Альбер слушал с благоразумным видом. «Ну что, убедился?» — «До известной степени, да». — «Итак?» — «Итак, ты прав, но это годится для тебя, потому что тебя это забавляет, а меня бесит. Зачем мне себя насиловать? Чтобы выгадать немножко денег?.. Мне дороже покой».

Не его вина, что он был таким; в этом не было нарочитости, но характер у него был настолько установившийся, что приходилось с ним считаться.

— Мне очень хотелось быть хорошим учеником.

Но для него это было недостижимо. Ему очень хотелось бы учиться в школе в том возрасте, когда полагается учиться. Но удавалось ему это только самостоятельно, без учителей, на досуге, благодаря терпеливому чтению и наблюдательности. В тех

¹ Анри Манген (1874—1949) — ученик Г. Моро, входил в группу «Диких».

областях, которые его интересовали, в истории, географии, он поражал обширностью и точностью своих познаний.

Его мать вела приходо-расходные записи и торжествовала, если могла внести в столбец доходов: «За постель — 20 франков. За четыре картины — 300 франков».

Случалось это не часто, но этого было достаточно, чтобы ободрить ее. Ей казалось, что игра уже выиграна, и она с волнением перечитывала корявую, малограмотную фразу в письме соседа, чувствительного крестьянина: «Желаю, чтобы ваш Альбер достиг вершин своего таланта».

Это было время первых Салонов, горячка Независимых¹, которые давали возможность каждому без больших расходов выставить свои произведения: «ни жюри, ни наград». Матисс и Марке, чтобы сэкономить, нанимали на двоих ручную тележку и, полные надежд, сами перевозили на ней свои картины. Увы! несколько недель спустя их приходилось тащить обратно, и Альбер возмущал своего друга, выражая циническую надежду:

— Если бы нам повезло и нас сшиб какой-нибудь омнибус или экипаж, нам, пожалуй, возместили бы убытки.

Таможенник Руссо² вызывал тогда скандал, и приятели помогали ему переправлять картины. Он был стар, а полотна были большие, и жил он на Монмартре, на самом верху, на холме Бютт. Двое-трое товарищей тащили ручную тележку, нанятую по этому случаю. Когда он выставил «Заклинательницу змей»³, которая теперь в Лувре, и Марке похвалил ее, Руссо письменно предложил ему картину за четыреста франков. «Ты человек понимающий и согласишься, что это недорого». После нескольких любезностей по адресу матери Альбера и пожеланий наилучшего здоровья Руссо оговорил в приписке: «Только ты мне верни раму, у меня их немного».

¹ «Салон Независимых» — общество художников, организованное в 1884 году в Париже с тем, чтобы участники его экспонировались на выставках без жюри и наград.

² Анри Руссо (1844—1910) — прозванный Таможенником, действительно служил в таможне, прежде чем стал художником. Самоучка, впервые выступивший в «Салоне Независимых» в 1886 году, представитель примитивизма в живописи.

³ В настоящее время картина «Заклинательница змей» переведена в фойе Лувра в Жё де Пом.



Четыреста франков в ту пору составляли значительную сумму для молодого художника. У него были другие, более настоятельные расходы: квартирная плата, питание, уголь, натурщицы — вот сколько трудных задач следовало решать. И ведь ничего лишнего он себе не позволял: один и тот же костюм из рубчатого бархата служил годами, зиму и лето. Однажды у Марке украли пальто и трубку; в потере трубки он скоро утешился; по существу он стал курить только из подражания, потому что курили все художники; что же касается пальто, то пришлось обходиться без него; понадобилось три года, чтобы заменить украденное. Он писал, рисовал, и жизнь была прекрасна, несмотря ни на что. Он не был уверен, что так будет продолжаться и дальше, даже если строго ограничиться самым необходимым. Марке подумывал о второй специальности, но не о смежной, а о совершенно отличной. Он охотно воображал себя кучером, взбравшимся на высокие козлы и парящим над улицей — его владением; там ему было бы удобно делать зарисовки в ожидании седоков. И почему бы ему не поджидать их поблизости от Сены?

После улицы Монж и авеню Версаль он жил на набережных: Отель де Вилль, Турнелль, Гранз-Огюстен, Лувр, Орфевр, он кружил вокруг собора Нотр-Дам и Пон-Неф вплоть до набережной Сен-Мишель, где он жил с 1908 по 1931 год; под конец он поселился на улице Дофины в доме № 1, откуда он наслаждался, как он говорил, «самым прекрасным видом Парижа».

До конца жизни его мать держалась стойко. Она не сомневалась, что успех придет; каждый Салон укреплял ее уверенность. Она прохаживалась по залам гордая, растроганная, ей всегда удавалось переделать по моде старое платье, а ее лучшая парижская подруга — модистка — делала ей новую шляпу. Другой своей подруге, деревенской учительнице, она писала восторженные письма, цитировала фразы из газет, похвалы знатоков, следивших за развитием таланта Альбера. Она не мечтала о том, чтобы жить богато и спокойно; ей довольно было знать, что ее сын делает то, к чему предназначен, и что это подтверждается успехом. Как была она права, покинув Бордо!

В одно прекрасное утро явился коллекционер. Он казался энтузиастом, имевшим связи, окруженным известными людьми. Он выбрал одно полотно, потом два:

— А если я возьму три, вы мне уступите?

Он оглушил Марке комплиментами, обещаниями, предложениями.

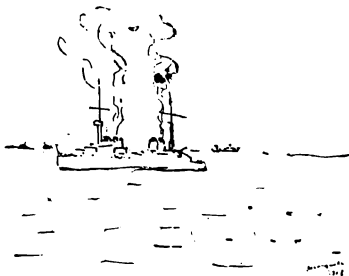
— Вы бываете у Шарля-Луи Филиппа? Вы говорите, что делали наброски для иллюстрации «Бюбю с Монпарнаса»¹ и не нашли издателя? Предоставьте это мне; мой брат писатель, и я берусь вывести вас из затруднения.

Он с авторитетным видом отложил рисунки в сторону. Куча полотен росла; в конце концов он унес чуть не целую сотню за триста франков. Впоследствии, когда Альбер рассказывал эту историю, он всегда прибавлял:

— Он просидел у меня целый день. Он говорил, говорил, так что я уже перестал что-либо соображать, и если бы он не собрался, наконец, уйти, дело кончилось бы тем, что я бы ему задолжал.

На другой день упорный коллекционер вернулся. Марке вышел в это время купить подрамник для полотна, свернутого в трубку, которое как будто заинтересовало покупателя. Последний, к своему большому сожалению, не мог ждать возвращения художника и попросил выдать ему картину — ведь он уже потерял много времени и опаздывает на важное свидание! Увы, жизнь предъявляет свои требования: нельзя позволять

¹ «Бюбю с Монпарнаса» — повесть Шарля-Луи Филиппа из жизни парижских бедняков, проституток, сутенеров и т. п. Бюбю — главный герой книги.



себе одни удовольствия. Альбер, возвратившись с подрамником в руках, тщетно искал глазами полотно, которое хотел как следует оформить. Он нашел его лишь через несколько лет на стене все у того же коллекционера. Он решился заметить:

— А это полотно...

Но любитель уверенно оборвал его:

— Ну и что? Оно входило в число отобранных.

Что тут ответить? Как доказать? Коллекционер оказался полицейским чином.

— Если бы я стал настаивать, меня бы и засадили.

А рисунки к «Бюбю»? Затерялись ли они в какой-то редакции? «Любитель» выпускал время от времени по одному рисунку на продажу в отеле Друо¹. Марке узнавал их и улыбался. Некогда он поверил прекрасным обещаниям, он воображал уже, как многочисленные коллекционеры карабкаются по его узкой лестнице, и, конечно, настанет такой вечер, когда Альбер, засыпая, подумает: «Вот и перелом! Конец нищете!» — и вот ничего не произошло. Много лет спустя на выставке этот «любитель», уже постаревший, устремился к Марке с видом друга, растроганного встречей:

¹ Отель Друо — существующее и поныне предприятие, организующее выставки и распродажу художественных произведений; находится на улице Друо, названной по имени наполеоновского генерала.

— Какая радость! Марке! Помните, когда-то... Хорошее это было время!

Тут я услышала, как мой муж ответил ледяным тоном, ему совершенно несвойственным: «Не для всех!» И он увлек меня в сторону, не желая знакомить с человеком, которого он не считал достойным общения.

Несмотря на первые успехи, хвалебные статьи и продажу картин, жизнь была по-прежнему трудной, и скоро — увь! — пришла болезнь. Хотя мать Альбера редко жаловалась (ей не хотелось быть бременем или обузой для сына), она очень страдала. Она призналась в этом своей старой деревенской подруге.

Муж ее только что умер недалеко от Парижа, им пришлось оплатить расходы, связанные с болезнью, с похоронами. Сын, как и мать, был не расточителен. У них остались кое-какие деньги — небольшая сумма, на которую можно было съездить посмотреть Лондон и его музеи в компании с Камуэном и Фриезом¹. Пусть Альбер о ней не беспокоится, ей нужно отдохнуть, она отправится на некоторое время в Тейш к сестре. Хотя сестра женщина несколько черствая и властная, она все же примет ее; в семье надо помогать друг другу, и сестра лишилась бы уважения земляков, если бы допустила, чтобы большая устроилась у посторонней, то есть у своей подруги-учительницы, которой очень этого хотелось. Мать Альбера судила ясно о положении вещей, она говорила обо всем с живым юмором. Вопреки постоянным болям (суставной ревматизм) она сохраняла дар относиться к собственной жизни как к забавной комедии. Судя по письмам к сыну, ее тревожили лишь два вопроса: судьба ее кошки Крысы, оставшейся в Париже (сестра никак не соглашалась принять ее), и непрактичность Альбера.

— Будь внимателен. Денег, которые я тебе оставила в ящике, должно хватить на оплату квартиры, прислуги и газа.

Ей хочется, чтобы он как можно лучше воспользовался своим путешествием; она ни в чем не нуждается, ему нечего

¹ Ашиль-Эмиль-Отто Фриез (1879—1949) — ученик Бонна, представителя академического направления, отошел от него, увлекшись импрессионистами, с 1903 г. экспонировался с «Независимыми» и в «Осеннем Салоне», входил в группу «Диких», от которой впоследствии отошел. Много путешествовал, писал пейзажи, портреты и театральные декорации.

беспокоиться на этот счет. Если характер сестры и оставляет желать лучшего, то суп у нее вкусный, а постель удобная.

Это первое путешествие Альбера было прервано. Его вызвали телеграммой к изголовью матери, и он примчался, чтобы присутствовать при ее борьбе с преждевременной смертью (в 1907 году). Однако она была уверена, что удачно сыграла. Она никогда не сомневалась, что ее дело выиграет, дело, которому она отдавалась целиком, тогда как ее муж довольствовался тем, что предоставлял ей действовать. Впрочем, это был хороший муж, малодушный, но не строптивый и всегда уступающий напору жизни, которую она вносила в дом, несмотря на свое хрупкое здоровье. Та сила, которая изо дня в день вела ее к одной цели — к успеху Альбера, — теперь помогала ей бороться с жестокими страданиями. И все-таки она сыграла свою роль, теперь она может исчезнуть. Она не была вполне уверена, сумеет ли ее сын выпутываться из затруднений, должным образом одеваться, питаться и отапливаться. Пусть так, но он будет писать, а в этом она не сомневалась ни минуты.

Ее похоронили на песчаном кладбище Тейша, куда Альбер привел меня, когда показывал мне эту деревню, которую считал своей родиной и где в детстве проводил все каникулы. Он не сказал мне при этом ни слова. Не привел меня туда еще раз.

Я рассказываю все это со слов старых подруг матери Альбера: учительницы и модистки; я познакомилась с ними, и у нас завязались добрые отношения. Альбер продолжал писать. Это и было то, чего она добивалась. Тем самым он оставался верным ее памяти.

III

Я уже говорила, что Марке был очень привязан к матери. Глубину этой привязанности я постигла однажды утром, в начале 1947 года, когда у него по ночам начались боли в сердце. Он повернулся в мою сторону. Как сейчас вижу его: он кончил бриться и, глядя на меня в упор, но улыбаясь, чтобы смягчить смысл своих слов, процитировал две строки Жюль Лафорга¹.

Громко стучит мое сердце —
Мама меня зовет...

Я хотела подбодрить его, попробовала пошутить:

— Вот каковы мужчины! Сколько раз ты заговаривал о воспалении легких, когда у тебя бывал самый простой кашель?

Он не настаивал, но он меня знал: знал, что его слова запали мне в сердце. Теперь он мог говорить о другом; он не сомневался, что я поняла.

Альбер очень любил стихи. Он находил у поэтов больше правды и лучшее общество, чем где бы то ни было. В военные годы, с 40-го до 45-го, все шесть лет жизни в Алжире, у его изголовья постоянно лежала книга басен Лафонтена. Она восмещала то, чего ему не хватало в моей стране. Он никогда не жаловался, но я не раз подмечала его отсутствующий взор, а потом я была свидетельницей его возвращения в Париж. Не задерживаясь, одним порывом, пересек он холл, мастерскую и точно прирос к окну, разглядывая во все глаза то, что ему было возвращено, — Сену, набережные, Пон-Неф, парижскую жизнь и тонкий, подвижный свет, от которого ему все же пришлось отвернуться 13 июня 1947 года с глухой мольбой:

— Затвори окно. Сегодня какой-то бесконечный день.

Это прозвучало хуже всякой жалобы! Отказ, отречение от того, что он любил больше всего в мире, означали принятие конца, потребность в отдыхе и ночи.

Неужели Анри Матисс был прав, когда, сраженный моим растерянным видом и моими полупризнаниями, сказал мне: «Пусть то, что я вам посоветую, — эгоистично, но отвернитесь от тяжелых минут, которые вы только что пережили. Решите

¹ Жюль Лафорг (1860—1887) — поэт, входивший в группу символистов, манифест которых был опубликован в 1886 году.

тельно ухватитесь за приятное. Я лично хочу помнить Марке таким, каким знал его в юности. Наша жизнь, конечно, была нелегка, далеко нелегка, но он был борец, твердо стоящий на земле, верный спутник. Я припоминаю день, когда узнал о смерти Эванполя¹. Я поднимался с телеграммой в руке по лестнице дома № 19 на набережной Сен-Мишель (мы жили в одном доме) и поминутно останавливался, повторяя изумленно: Эванполь умер!

Вошел Марке.

— Что с тобой?

— Старина! Эванполь умер.

— Ну и что ж, — ответил Альбер, — если бы люди не умирали, их пришлось бы убивать».

Смерть... Альбер никогда о ней не думал, — он считал это бесполезным.

Он ненавидел все то, во что ее облачают: помпу похорон и кладбищ, а когда сам почувствовал ее приближение, он сумел принять ее совсем просто. Он никогда не придавал себе особого значения.

Я возвращаюсь к его последним минутам (вопреки дружеским советам Матисса, который предпочитал быть оптимистом) только потому, что те минуты скрепили наш союз. Я к ним возвращаюсь потому, что не могу поступить иначе; они стоят в конце нашего пути.

Дом № 19 на набережной Сен-Мишель, по лестницам которого Матисс и Марке так часто взбирались вместе, был караван-сараям художников. Они жили по всем этажам; всюду ютились мастерские. Более или менее светлые, они выходили на площадки многочисленных лестниц, витых, раздваивающихся, выходящих на набережную, во двор или на улицу Юшетт.

Марке жил там на шестом этаже, в мастерской, которую он унаследовал от Матисса, — в просторном помещении с высокими окнами на Сену. Тут стояли два стола — один тяжелый, другой легкий, сделанный из доски на двух козлах, несколько кресел, стулья, соломенный диванчик, мольберт, печка, шкафы. Мастерская отделялась от входа стеклянной перегородкой, далее следовало одно за другим еще три помещения со все более

¹ Анри Эванполь (1872—1899) — бельгиец по происхождению, художник, ученик Г. Моро.



низкими потолками, и последнее из них выходило уже на другую лестницу, темную, крутую и узкую. Несколько ковров, красивые вышивки, книги, изрядное количество пыли, в передней — нары. Уже никто точно не помнил, что именно там приютилось: спереди стояли полотна, поглубже — всякий хлам. При переезде мы обнаружили там разное старье, оставшееся еще от Матисса.

Именно в этом помещении начала я свою парижскую жизнь с Альбером. Он предоставил мне сделать все нововведения, какие мне хотелось: в уголке передней я устроила кухню, в глубине — ванную комнату. Он наслаждался, как ребенок, комфортом, который я ему доставляла и о котором он сам и не помышлял. Я вошла в мастерскую в 1923 году, а он ютился там с 1908 года.

Под нами жил Матисс; он вернулся в этот дом после того, как попробовал пожить в Сен-Жермене. Когда мы возвращались из путешествий, Альбер, едва раскрыв багаж, стучал палкой по паркету, и в скором времени мы слышали звонок старого друга — его всегда интересовало: что мы привезли? Он выбирал что-нибудь, и это была затравка для очередного обмена. Увы, впоследствии Матисс если и заходил повидаться с нами, точно охваченный раскаянием, то уже не интересовался работами Альбера, и на наших стенах смотрел только на свои собственные произведения. Сначала он оправдывался:

— Я слишком погружен в то, что сейчас делаю. Я не могу выйти из этого, все остальное для меня не существует.

И ни слова о «ренуаре», которого мы только что купили и которым немало гордились!

Однажды Матисс сделал усилие и добрался до Пуасси, где мы проводили лето. Возвращаясь домой с вокзала, Альбер мне сказал: «Не понимаю, зачем он приезжал. Было похоже на посещение епископом деревенского кюре». Но Альбер был верным в дружбе, и достаточно ему было узнать о возвращении Матисса в Париж из Ниццы, где он тогда жил, как Альбер тотчас же шел повидать его. Я поощряла Альбера. Я знала, что они приятно проведут время, беседуя о былых днях, друг о друге, о полузабытых приключениях, вспоминая шутки, путешествия,— беседуя обо всем, кроме живописи. Они никогда много о ней не говорили.

Так Альбер однажды и сказал некоему журналисту, который пришел его интервьюировать и намекнул на то, как трудно вытянуть что-нибудь из молчаливого человека:

— Ведь вы связаны с Матиссом... а ведь он говорит! Когда вы бываете вместе, разве вы не говорите?!

— Говорю, но только не о живописи. Довольно с нас того, что мы ею занимаемся.

Бедный журналист! Как он обманулся в тот день! Он явился с рекомендацией нашего друга и был тотчас же принят; не теряя времени, несчастный достал из кармана записную книжку и карандаш еще прежде, чем очутился лицом к лицу с Марке. Я устроилась на краешке дивана и, чтобы подчеркнуть, что я совершенно в стороне, принялась штопать носки.

Альберу было не по себе, журналисту тоже. Пока речь касалась дат рождения, приезда в Париж, поступления в школу, первого Салона,— все шло гладко, но как сделать из этого содержательную статью, освещающую ряд вопросов, заранее намеченных в книжечке, которую посетитель угрожающе держал в руке?

— Что вы думаете о молодежи?

— Ей, пожалуй, не хватает молодости.

Этого маловато! Сознывая положение и мучась тем, что ставит своего собеседника в затруднение, Альбер любезно предложил ему полюбоваться видом из окон. Это действует, как порыв свежего ветра.

Но собеседника нимало не интересовали ни извилины Сены, ни гармоничные очертания мостов, ни фасад Нотр-Дам, ни то, как они в данный момент освещены. Он хотел бы услышать что-нибудь сенсационное и, покорный своей идефикс, осмелился заметить:

— Матисс говорил мне, что считает Утрилло¹ художником деревни.

Марке так и подскочил! (Кстати сказать, несколько дней спустя Матиссу пришлось опровергать эти слова, как ошибочно ему приписанные.) Марке молчал, а журналист, рассчитывая воздействовать на него и уточнить вопрос, спросил уж совсем невпопад:

— Быть может, вы в глубине души думаете, что в общем его можно считать художником небольших городков?

Я не смела глаз поднять. Я догадывалась о лукавстве, которое мелькает в глазах Альбера; мучительная беседа подошла к вопросу о взаимоотношениях Матисса и Марке.

Неловкость сгустилась; журналист совершенно побледнел, Марке не знал, как усидеть на месте. Слушая рассуждения о валёрах, о равновесии масс, он думал о том, что зря теряет время.

— Объясните мне, пожалуйста,— говорил журналист, одержимый желанием получить хоть какие-нибудь сведения,— почему я не узнаю вашей обычной фактуры в ваших портретах и в «ню»?

— Не мне вам объяснять это. Могу только заверить вас, что я употреблял тот же холст, те же краски, те же кисти.

Он мог бы прибавить:

«И оставался тем же человеком».

Не много можно было извлечь из этого для статьи.

— Разберемся,— добрая воля журналиста была очевидна,— вы много пишете из окон, с шестого этажа, во время путешествий, из комнат гостиниц, и всегда кажется, что вы выбираете самый верхний этаж; вероятно, потому, что расположение масс и перспектива...

Однако Альбер, которому уже начинало претить переливание из пустого в порожнее, прервал его:

— Я поступаю так потому, что там светлее, и что дома или в комнате гостиницы работать спокойнее, чем на улице.

Ничего не вытянешь из человека, до такой степени просто-душного! Не слишком-то много набралось для записи в книжечку; со своего места я видела, что хватило одной-единственной странички.

¹ Морис Утрилло (1883—1955) — живописец-пейзажист.

Посетитель встал. Он сдался. Альбер его проводил, сожалея о его неудаче, но утешаясь тем, что тот наконец уходит, и я услышала, как журналист сказал уже на пороге:

— Я ухожу, но, если позволите, приду еще раз и заранее вас предупрежу, чтобы дать вам время подготовиться. Я думаю, так будет лучше.

— Да, конечно. До свидания.

Уф! Альбер вернулся, как выпущенный на свободу.

— Больше никаких интервью! Теперь ты будешь отвечать по телефону — устраивайся как хочешь. Если какому-нибудь журналисту захочется что-нибудь узнать, направляй его к Жаку Генну¹, скажи, что мне нечего прибавлять к тому, что я уже сказал, и что с меня этого хватит на всю жизнь.

Сев рядом со мной, — а я отложила носки, — он добавил:

— Мне казалось, что я держу экзамен, о котором наперед знаю, что провалюсь. Ну и ремесло у этих людей!

Прекрасная статья так и не была написана. Жак Генн, плохой партнер, никогда не упускал случая вредить Марке, вплоть до начала войны, когда он написал мне с юга (где он жил беженцем), что, имея возможность спасти немного денег, он был бы счастлив вложить их в покупку картины. С согласия Альбера я направила ему в ответ адрес одного торговца.

Марке работал на улице и в Париже и в других местах. Возле Института ему пришлось выслушать такое суждение: «Не умеешь писать — так сиди дома».

Если бы он рассказал об этом Жаку Генну, тот сделал бы вывод, что застенчивый Марке следует этому совету. Да, Марке был застенчив, и даже в самых обыденных обстоятельствах, но никак не в живописи. Здесь он не блуждал, не колебался и не спрашивал ни у кого совета. Он работал напряженно, в иступлении, а если не был доволен оконченным полотном, забывал его где-нибудь в углу или растапливал им печку; акварели он комкал и выбрасывал, рисунки рвал на куски. Как мало был он привязан к вещам! Если оказывалось, что картина повреждена — продавлен или порван холст, — Альбер пожимал плечами:

— Ты разве хотела ее продать? Не стоит! А если хочешь продать — не смущайся, можно поставить заплатку.

¹ Жак Генн — искусствовед.

Но заплатку он не ставил, или ставил небрежно, кое-как... Когда он покрывал картины лаком, а это бывало далеко не всегда, отдельные места все-таки оказывались без лака. Марке не останавливался на том, что было сделано, в голове у него уже возникали новые планы. Он изо дня в день все с тем же упорством продолжал поиски света и движения, не теряя времени на бесплодные сетования. Лишь в 1946 году пришлось мне услышать жалобу: «Впервые мне жаль расстаться со своим полотном. Значит, я постарел», — заключил он.

По возвращении из путешествий, когда маршаны Дрюе и Бернхейм сразу же забирали все, что он написал, а я горевала, что лишаюсь всего этого, он возражал: «Голая стена — это же потрясающе! Есть свободное место. Легче дышится». Избавляясь от этих соглядатаев, он казался отпущенным на волю, готовым вновь отправиться к той же цели с тем же рвением.

Тяга к живописи и радость творчества не оставляли тебя до конца. Какая надежда воспрянула во мне при виде того, как, едва вернувшись домой (тебя оперировали 14 января, а это



было 31-го), ты потащил свой мольберт к окну, уселся кое-как на кончик стула и стал писать снег и туман, обволакивавший мост; ты забыл тогда все остальное, забыл усталость. Ты выдержал сеанс, отрываясь лишь для того, чтобы улыбкой поблагодарить меня за подушку, которую я сунула тебе за спину.

Как обычно, ты тщательно вымыл кисти, а назавтра и в последующие дни, до тех пор, пока шел снег, ты продолжал изображать на восьми полотнах одно за другим свои любимые Пон-Неф, прямо и сбоку, Септ-Шапель, воду и деревья, чуть-чуть более плотные, чем туман. В заключение возникло маленькое полотно, в котором была лишь большая тонкость, нежность, затаенное согласие на исчезновение... твоё прощание — и моё теперешнее прибежище. Если мы и говорили, следуя твоёму примеру, о посторонних вещах, то...

Погода изменилась, и ты стал готовить холсты для будущих работ. Я видела, как, стоя на коленях в мастерской, ты натягивал их и прибавал на подрамники. В те дни нас обоих вновь охватила безрассудная уверенность, — меня-то определённо, но тебя? Если вникнуть в это хорошенько, не хотел ли ты тогда испытать себя? Ты хотел дать себе отчет, сможешь ли ты ещё жить как тебе хочется, самостоятельно, без посторонней помощи, которая тебя стесняла.

Я говорила уже, что дом № 19 на набережной Сен-Мишель был полон художниками. Марваль¹ была нашей соседкой, то дружественной, то отчуждённой. Сначала она пришла из любопытства — посмотреть, что я собой представляю, и шепнула:

— А вы знаете, у Марке бывало очень весело, всегда много молодых, хорошеньких женщин. Я, конечно, не была с ними знакома. Я встречала их на лестнице.

Ты расхохотался, когда я передала тебе наш разговор. Случалось, что твои старые друзья, увлечённые воспоминаниями, говорили о прежних знакомствах, о веселых вечеринках. Когда я приставала к тебе, чтобы разузнать побольше, ты пожимал плечами и говорил: «Я уж не помню».

¹ Жаклин Марваль (ум. 1932) — художница, занимавшаяся живописью, скульптурой и литографией, экспонировалась в «Салоне Независимых», «Осеннем Салоне» и за границей. Писала на сказочные и фантастические темы в стиле, близком группе «Наби» (наби — древнееврейские пророки).

Я упрекала тебя: «Лгун!» — а ты мягко отвечал: «Это вернее верного». Этим ответом я жила, и я считала его исчерпывающим.

Иной раз настроение Марваль по каким-то причинам менялось. Она мне говорила:

— С тех пор как вы вошли в жизнь Марке, в его живописи появилось что-то более радостное, какое-то самозабвение.

В другой раз — быть может потому, что у меня сорвалось какое-нибудь неосторожное или неверно ею понятое слово — она внезапно уходила, изрекая свой приговор:

— Марке, помните: когда мужчина теряет самого себя, то в этом всегда повинна женщина.

Случалось, что мы не виделись месяцы и годы: то ее якобы не было дома, когда мы звонили у ее двери, то, встретившись с нами, она говорила, что очень, очень спешит на деловое свидание. Потом в один прекрасный день она к нам возвращалась «в виде 14 июля», — говорил Альбер, то есть в синих башмаках, белом платье, с красно-рыжими волосами, и как будто ничего и не было. У нас и правда ничего не было против нее, потому что мы никогда не понимали тончайших причин этих перемен в настроении.

Марваль нетвердо чувствовала себя в мире реальности: она жила в мечтах юности. Она навсегда осталась в плену у Сильвии Жерара де Нерваля¹: всю жизнь она собиралась иллюстрировать его. В мире реальном она разбиралась плохо. Одевалась она в розовый цвет персикового оттенка, сама красила себе волосы в пламенеющие тона и, прицепив к поясу или плечу яркий цветок, рассказывала самой себе чудесные небылицы о том, будто всегда и всюду молодые люди и старики оборачиваются, проходя мимо нее. Так оно и было, но происходило это скорее от изумления, чем от восторга.

Однажды Альбер, Матисс и Шанвен были с Марваль на русском балете; она гордо выступала в туалете своего изделия: довольно прозрачная ткань держалась у нее на ненадежных булавках. В сверкающие волосы она воткнула страусовое перо, спадающее до талии.

¹ Жерар де Нерваль (1808—1855) — писатель в духе позднего романтизма. Сильвия — героиня одноименной новеллы из сборника «Дочери огня» (1855).



В антрактах по коридорам двигалась плотная толпа, возбужденная великолепием и новизной спектакля. Матисса и Марке охватил страх — а вдруг булавки не выдержат! — и они представили Шанвену, более храброму и беззаботному, попечение о спутнице, которая, по их мнению, уж слишком бросалась в глаза.

Марваль до конца следовала мечте своей юности. Она умерла в больнице, не подозревая, благодаря чуткости своих друзей, что она нищая вопреки своим нарядным платьям из шелкового муслина (узоры были сделаны в Лионе по ее образцам), умерла с букетом на груди. Это было последней реальностью, которую она осознала.

— Цветы!.. — было ее последним словом.

Мы находились в отъезде. По возвращении консьержка дома № 19 на набережной Сен-Мишель, восхитительная женщина, которая ухаживала за Марваль до отправки ее в больницу, рассказала мне о конце этого существования, проходившего под знаком фантазии и убежденной беспечности.

— Почему приглашают меня эти богачи, — и при этом она называла людей, которые до последнего часа остались ее друзьями, — конечно, потому что я плохо воспитана, и это их забавляет.

Швея-жилетница и подруга Фландрена¹, своего земляка, Марваль, когда ей было уже под сорок, взялась во время одной из его отлучек расписывать крышки сигарных ящичков, чтобы показать Фландрену, «как это делается», — объясняла она с лукавым видом. Она верила в свою одаренность, так же как в свою красоту, и ей это прощали улыбаясь, — до того она была великодушна. Давая, она не подсчитывала, что у нее останется, а когда она хотела сделать подарок ребенку, то выбирала его, как для самой себя. И всегда попадала в цель; это была женщина с чистым сердцем.

Над нашей мастерской днем работал один из племянников Коро; старик приходил каждое утро в один и тот же час. По своему возрасту он мог бы уже отдыхать, но он имел привычку повторять: «Если тебе не выпало счастье родиться художником, так нужно быть ремесленником». Едва только печка начинала гудеть, он говорил: «Четыре градуса, можно приниматься за дело». Он склеивал фарфор, чинил старую мебель; помогал ему «молодой» человек, младше его лет на десять-пятнадцать. Самому ему было около девяноста. Когда к нему приходили, он тотчас начинал рассказывать какую-нибудь историю, которая доказывала, что его дядя до конца жизни заботился о ближних.

Так, например, накануне смерти Коро послал за своей картиной, которую он подарил некоему скромному служащему; художник хотел подписать ее: «Он так легче ее продаст».

После смерти Коро у него в комодке нашли несколько распечатанных конвертов, полных банковскими билетами, — они ему были не нужны.

Рядом с нами работал родственник Мане, живописец, придававший себе наружность настоящего артиста: длинные волосы, галстук, небрежно завязанный бантом, какое-то потустороннее выражение красивого лица. Познакомившись с ним ближе, я узнала, что он туг на ухо. Он выставлялся у «Французских художников»². Кажется, он писал главным образом

¹ Жюль Фландрен (1871—1947) — художник, учился у Г. Мора и Пюви де Шаванна, экспонировался в «Салоне Независимых» и «Осеннем Салоне».

² «Общество французских художников» было основано в Париже в 1881 году.

портреты и всегда ворчал, когда при нем заводили разговор о его знаменитом родственнике:

— Нет, нет, не уверяйте меня, будто и вы попались на эту удочку!

И он заключал самоуверенно, как человек, чуждый иллюзиям:

— Все это плутни маршанов...

В доме были не только постоянные жильцы, но и проезжие и иностранцы. С ними встречались, но не были знакомы. Однако и они придавали дому № 19 на набережной Сен-Мишель своеобразный характер. У дверей большинства мастерских имелись грифельная доска и грифель, чтобы написать свое имя и весточку, если не застанешь приятеля.

Альбер говорил одному надоедливому человеку, которого избегал:

— Не забудьте погромче крикнуть свое имя, когда будете звонить; я открываю не всем.

А иностранному посетителю, который захватил его врасплох, ответил:

— К сожалению, господина Марке нет дома.

Марке не искал новых знакомств, наоборот. Однажды, на Канебере, когда он в компании друзей пил аперитив, к ним подошел хорошо одетый незнакомец:

— Извините меня, но вы, по-видимому, художники; говорят, здесь присутствует Марке, а я хотел бы познакомиться с ним. Вы его знаете?

— Нет, не знаем,— отвечал Альбер с самым серьезным видом, раньше, чем кто-нибудь успел рот раскрыть.

В чем причина такого бегства? — Он дорожил временем, дни казались ему слишком короткими, он никогда не скучал, не искал развлечений; визиты и разговоры ничего ему не давали. Когда он не работал, то предпочитал слушать музыку, читать, отправлялся в галереи и музеи посмотреть чужие произведения или бродил по улицам, всегда погруженный в жизнь, которую яростно ловил кистью, карандашом и пером. Он любил также кино, он «открыл Шарло¹ одновременно с консьержками,— говорил он,— в такое время, когда интеллигентные люди постыдились бы этим развлекаться». Чего ожидать от встреч и

¹ Шарло — прозвище киноактера Чарльза Спенсера Чаплина.

визитов? Слова ведь редко заключают в себе хоть крупницу правды, они скорее созданы для того, чтобы запутывать и маскироваться.

Мы месяцами жили в местностях, где никого не знали, где работали и гуляли. Наши друзья удивлялись:

— А что же вы делаете по вечерам?

Мы занимались чтением или играли. Альбер был азартный игрок: он увлекался игрой в шары, в шахматы и жаке¹; он не любил проигрывать, со мной — ни в коем случае, особенно в шахматы — «единственную игру, в которой не существует удачи случайной». Если я делала мат его королю, что мне иногда удавалось, он сердился, да так, что я отказывалась продолжать. «Мужская гордость», — шутила я, но причина была глубже. Я выигрывала не таким приемом, как он, и это доказывало, что наши умы не следуют по одной дорожке. Он хорошо знал, что я отличаюсь от него, а он не любил, чтобы это проявлялось слишком наглядно; он терял тогда доверчивость, и ему бывало не по себе.

Возвращаясь к тому времени, когда я познакомилась с Альбером, к 1920 году. Его мать умерла в 1907 году, и тринадцать лет от нас ускользают, тринадцать лет борьбы; несмотря на присутствие друзей и веселые компании, это были тринадцать лет одиночества, — не одиночества, заполненного и оздоравливающего, но такого, которое подобно бессмысленному карантину.

Марке посещал академию Рансона² почти до начала войны 1914 года. В этот период он написал в своей мастерской на набережной Сен-Мишель несколько «ню», которые поражали своей терпкостью и объективностью. В них не было никогда никакой небрежности, снисходительности, пристрастия. Он рисовал, женщины служили ему моделью, но это не были всего лишь тела, то грузные и усталые, то молодые и трепетные; это были существа, живущие своей особой жизнью, со своим характером, с повседневными заботами. Вот одна из них. Несмотря на наготу, ее представляешь себе буржуазкой в гостях и навер-

¹ Жак — настольная игра типа трик-трак, в которой бросают игральные кости.

² Поль Рансон (1864—1909) — художник группы «Наби», сложившейся в 80-х годах XIX века. Во Франции принято называть «академией» учебную мастерскую художника.

пняка знаешь, как она будет держать чашку чая, как решительно будет обо всем судить. Другая почти танцует в упоении своей молодости, а третья, несколько грузная, крепко стоит на ногах — она много, ох как много всего повидала в жизни, но не ее за это укорять...

На эти-то годы и намекала Марваль, годы, когда у Марко было полным-полно женщин. Он был великодушным, не мелочным человеком. Он давал, позволял брать, делал вид, будто ничего не замечает. «Оставаться в дураках, что ж тут такого, если сам это сознаешь?» Он всегда это сознавал. Его потешали слишком заметные нити интриги, слишком явная злонамеренность, корысть, которую легко распознать. Тем не менее все эти подоплеку интриг вносили движение, особую поверхностную жизнь, иногда забавную и, во всяком случае, не уступающую тому, что занимает серьезных людей, важных, надутых и смешных, но даже не подозревающих об этом.

Орден, чин, повышение? Зачем же от них отказываться, если это улучшает ваше существование? Но думать, что это придает вам вес... В глазах Марке светилось лукавство.

Какой он приятный в компании! С ним можно было делать что угодно, лишь бы не мешали ему работать. Если вокруг него собиралось уж слишком много народу, он уходил без объяснений. Дрюе постоянно покупал его полотна, и он мог позволить себе путешествия. Он так же охотно останавливался в каком-нибудь кабачке, как и в приюте Армии Спасения. Он искал лишь красивые виды. После Лондона он жил в Коллиуре (в 1908 г.), потом в Неаполе и Гамбурге. Первый раз он путешествовал по Италии в обществе Мантена и его семьи, а во второй, к удивлению друзей, приехал с Монфором¹. Что было у него общего с этим писателем-бонвиваном, скуповатым и очень занятым самим собой? Общего было не много. Тот не стеснял Альбера, много спал, в путешествии умел преодолевать маленькие повседневные трудности и таким образом облегчал жизнь Альберу, более склонному приспосабливаться к обстоятельствам, чем упорядочивать их. И, кроме того, будь то Монфор или

¹ Эжен Монфор (1877—1936) — в 1903 году основал литературный журнал «Ле Марж» («Les Marges»). Ему принадлежат романы и описания путешествий; совместно с другими авторами написал «25 лет французской литературы» (1895—1920).

кто другой, не все ли равно? Люди никогда не проникают глубоко в наш внутренний мир.

«Нелегко к нему подойти». Так сказал Матисс, и в этих словах звучало как бы сожаление.

После смерти матери Альбер еще более замкнулся в самом себе. Он ни с кем не делился своими сокровенными переживаниями и поэтому казался самым уживчивым в мире: заплатить за платье, предложить бокал вина, подарить картину — от этого он никогда не уклонялся. Он все это проделывал, но в глубине души, начиная с 1907 года, он был одинок, и только потому, что мне удалось проникнуть в то уединение, которое было ему необходимо, и ничего в нем не нарушить, мы прожили годы в подлинной общности, а не просто на параллельных путях.

Он поехал в Танжер с Матиссом и Камуэном, а во время второго путешествия, в 1913 году, в обществе Шанвена и его жены отправился дальше, до Марракеша. Они устроились там в полуразрушенном дворце, где обитали птицы и где им прислуживали негритянки; закончив работу, женщины танцевали, чтобы им угодить и самим отдохнуть.

В 1914 году Альбер «открыл» Голландию и Роттердам. Разразилась война. Альбер и Матисс, освобожденные от военной службы, обратились к Марселю Самба, который любил живопись и живописцев, с вопросом: чем они могут быть полезными? Самба мудро ответил: «Продолжайте писать. В этой области вас никто не заменит».

Вскоре Марке отправился вслед за своим другом в Коллиур. Он был почти богат. Он получал от Дрюе триста франков в месяц, а тот отмечал в записной книжке свои покупки и затраты. Приезжая за картинами, Дрюе каждый раз, расплатившись, указывал еще на одну маленькую картину: «А эту я возьму, чтобы оплатить извозчика», и так шло до того дня, когда Альбер, набравшись храбрости, предложил Дрюе, что сам за него расплатится с извозчиком.

Манген с женой и детьми находился в Швейцарии, Жан Пюи¹ и Камуэн — в армии; все приятели рассеялись.

¹ Жан Пюи (род. 1876) — с 1898 года жил в Париже, ученик Лоранса и Карриера. С 1900 года — участник «Салона Независимых», с 1904 — «Осеннего Салона»; от импрессионизма отошел в направлении декоративизма.

С 1916 года Марке жил в Марселе, на набережной Рив-Нев, в рабочем кабинете Монфора, который чуть не потащил своего друга в суд, потому что Альбер своевременно не уплатил за помещение.

Дело шло о пятидесяти франках, которые Марке задержал, потому что был болен гриппом. Это положило конец их отношениям.

В 1918 — Эстак; в 1919 — Корниш. Все те же непрестанные поиски света и жизни. Набережные Старого Порта пленяли Альбера своей живописной суетой. Я видела, как он там прогуливался, не присаживаясь, довольный, ненасытный, в хорошем настроении. Он отыскивал там каких-то забавных разносчиков, наблюдал схватки силачей, тешился покупкой всевозможных совершенно ненужных «последних изобретений»; но он регулярно возвращался в Париж, к полюсу, от которого ничто не могло его оторвать.

Он проводил лето на берегах Марны или Сены, в Пуасси, Виленне, Шеневьере, Ла-Варенн-Сент-Илере, в Самуа, Эрбле, то снимал домик, то поселялся в гостинице — лишь бы жить около воды. Одно лето, в 1912 году, он работал в Руане. Сена была для него единственной во Франции рекой — она судоходна. Я видела, как он скучал на берегах Луары, потому что на реке не было судов, если не считать редких жалких рыбацких лодок, бессильных оживить обширный меланхолический пейзаж. «Это годится только для выздоравливающего после тяжелой болезни или для того, кто держится в стороне от жизни, но не для меня», — говорил он.

Зимой 1919 года у Марке был сильный грипп, и его друг Эли Фор, врач-скептик, посоветовал ему переменить обстановку, где от избытка учености его пичкали многочисленными, друг друга исключаящими лекарствами, и уехать на поправку в Марсель и Ниццу, к солнцу, к старому бордо. Альбер проделал этот курс лечения вместе с Матиссом, с которым встретился на юге.

В 1920 году, опять-таки стремясь туда, где зимой тепло и где можно без вреда для здоровья писать на открытом воздухе, Марке решил посмотреть незнакомые ему места и в начале января, снабженный рекомендательными письмами, отправился в Алжир.

В январское солнечное утро Марке прибыл в Алжир и обосновался в верхней части порта, в старом мебелированном доме, который ему рекомендовали художники. Он был поражен, увидя, как все вокруг ослепительно и зелено, и тотчас же отправился бродить, чтобы ознакомиться с городом. Воспользоваться ли рекомендательными письмами, которые он привез с собой? Он прочел на них имена адресатов — все это были важные люди: директор того-то, председатель еще чего-то, люди серьезные, с солидным положением, которым, конечно, он не найдет, что и сказать. На письме, предназначенном для меня, не было никакого почетного звания: я была подругой женщины, с которой он однажды встретился; она уверяла его, что я люблю и знаю свою страну. Быть может, и впрямь я сумею руководить им и помогу открыть наиболее интересные уголки; и вот так, прогуливаясь, без предупреждения и определенного намерения, он очутился перед виллой, где я жила. Он позвонил. Меня не оказалось дома. Простота обстановки и семьи ему, по-видимому, понравилась, он пришел вторично; письмо, которое он мне передал, объяснило мне, чего он от меня ожидает, и я стала водить его по дорожкам, которые сама любила, которые, извиваясь меж оврагами и фруктовыми садами, карабкаются вверх и огибают Алжир. Одному ему нелегко удалось бы тогда их открыть, а теперь их нечего и искать: все кругом застроено, потому что город с каждым годом растет.

Я тоже навещала Марке в его скромной комнате. Я никогда не расхваливала его картин. Я не знала, как говорить о них. Я смотрела на них лишь украдкой, но однажды я остановилась перед только что законченным полотном, удивленная тем, что открыла в нем как бы трепетание чувства.

Я никогда не говорила тебе об этом — нелегко найти минуту поделиться переживанием глубоким и искренним, — но именно с той поры я почувствовала, что ты существуешь, и стала уделять тебе внимание.

Подруга, направившая ко мне Альбера, написала мне еще одно письмо после того, которое он мне привез, и тут она добавляла:

«Я видела его лишь раз. Думаю, тебе будет трудно вытянуть из него хотя бы слово. Я спросила у м-м Т., которая меня с ним познакомила, умен ли он; она ответила, что не знает,

потому что никогда не слышала, чтобы он высказывал о чем бы то ни было свое мнение».

Весной Марке уехал. Из Ларошели, где он проводил лето, Альбер мне прислал три или четыре дружественные открытки.

Во время его второго путешествия я сопровождала его на юг вместе с Жаном Лонуа¹. Я немного говорила по-арабски и была местной жительницей, к тому же мы внесли в Лагуа некоторое оживление, поэтому мы были хорошо приняты арабскими вождями и купцами. Устроить придумали нас не в обычной посредственной гостинице, а в доме с внутренним двориком и четырьмя пустыми комнатами, которые меньше чем за час наши усердные хозяева меблировали тремя диванами, несколькими коврами и чуть-чуть хромым низким столом. Нам предоставили слугу, который прилично говорил по-французски, и я принялась с его помощью размещать то, что нам одолжили, как вдруг явился местный саид, с которым мы были знакомы три дня. Он хотел проверить, не нужно ли нам еще чего.

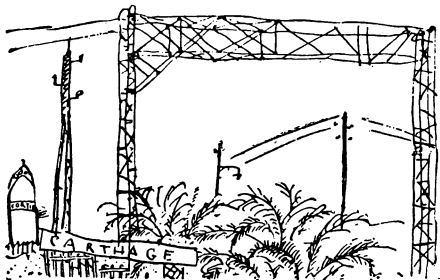
— Как видите, ничего больше не нужно!

Он тщательно осмотрел дом, покачал укоризненно головой, улыбнулся мне и удалился, а немного спустя его слуга привнес разноцветные шелковые подушки и дюжину бокалов для шампанского. К своему возвращению, в полдень, художники нашли готовый завтрак в благоустроенном доме. Абд-эль-Кадер оказался сносным поваром.

Наши новые друзья часто проводили вечера у нас. Занимались музыкой, у нас был фонограф, а нарядные и отнюдь не застенчивые женщины украшали дом своими улыбками и милой болтовней. На этих собраниях я была в своей среде, тогда как Альбер и Жан Лонуа чувствовали себя чужими.

Однажды вечером, когда мы слушали игру известного местного флейтиста и вместе с нами был слуга Абд-эль-Кадер, так как по окончании работы он переходил в ранг нашего друга и без стеснения принимал участие в беседе, в дверь постучал запоздавший гость. Мой сосед, один из наиболее почетных местных жителей, с лукавым видом наклонился ко мне:

¹ Жан Лонуа — уроженец Сабль д'Олонна в Вандее, художник. писал гуаши и пастели.



— Я уверен, что это мой кузен. Наблюдайте за ним. Он войдет улыбаясь, так как собрался приятно провести с нами время, но, когда он увидит моего дядю в обществе женщин, он изменится в лице. Он делается серьезным, поклонится и уйдет.

— Почему?

— Он не смеет быть вместе с женщинами в присутствии нашего дяди.

— А вы?

— Я? — Он расхохотался. — Мы с дядей однажды выпили лишнего, и с тех пор почтение улетучилось.

Подобные истории восхищали Альбера, вводили в другой мир, а Жан говорил, что следовало бы отменить все эти непостижимые сложности.

После ухода мужчин наши молодые гости собрались домой. У них были голубые полупрозрачные покрывала, широкие розовые платья с оборками и глаза, обведенные коглем и широко открытые в пустоту. Альбер и Жан намеревались завтра с утра писать и рисовать их, а так как они ломались, не соглашаясь, Абд-эль-Кадер вмешался с грубоватой рассудительностью:

— Они ведь привыкли проводить ночи на улице...

Он сказал им по-арабски несколько крепких словечек, которые убедили их остаться, но самая младшая согласилась лишь при условии, что ляжет на ковре в ногах моей постели и

не снимет с себя украшений, драгоценностей и одежды. Она завернулась в свое легкое покрывало, улеглась, натянула платье на ноги и пристально, как судья, следила за всеми моими движениями, покуда я не потушила свечку. Около трех часов утра кто-то меня резко разбудил: гостя меня трясла, говоря, что брат будет ее бить, а то и вовсе убьет, если она поздно вернется домой; притом она клялась, что теперь ее уже не удержит никакая сила. Я встала и, чтобы ее успокоить, приготовила ей кофе; потом сонная, с не совсем ясной головой, я затеяла с ней утомительный разговор вплоть до первых проблесков зари. Я позвала тогда художников, и они принялись за работу. Эта картина находится теперь в посольстве в Вене.

Лагуа очаровал бы нас, если бы на улицах не было столько голодающих и повсюду вокруг столько нищеты. Целый год стояла засуха; кочевникам нечего было есть, кроме жесткой травы, которая одна только и может извлекать жизненные соки из камней и пыли. Представители власти, как французские, так и арабские, объединились, чтобы держать кочевников на расстоянии. Кочевники так многочисленны, что нечего и думать их прокормить; к тому же от них могут распространиться болезни. И тем не менее они просачивались в оазисы в количестве, достаточном, чтобы тревожить благополучие сытых и давать повод к угрызениям совести. Однажды во время прогулки верхом мы открыли такую стоянку и возвратились возмущенные. В тот же вечер мы прямо говорили об этом с представителями властей обеих сторон, причем не скрывали своего намерения сообщить о положении вещей во Францию, направив в различные газеты статьи и зарисовки. При этом мы сказали, в какие именно. Жан был особенно говорлив. Наши арабские друзья качали головами, выражая соболезнование и симпатии нашим великодушным намерениям: они, мол, помогут нам, предоставят нам хороших лошадей, чтобы еще раз съездить на стоянку, дадут толкового переводчика, чтобы разъяснить несчастным цель этих мероприятий, а иначе это может только встревожить их. Однако вышло так, что три дня спустя по внезапному распоряжению правительства кочевники перешли в другое место, к источнику, и им там якобы было роздано продовольствие в количестве, достаточном на первое время. Жан шумно радовался; он всегда думал, что как только все станет известно, так все и образуется, но я была настроена более скептически, и он весь вечер попрекал меня:

— Недаром вы алжирка! Я никогда не видал подобной страны. Никто никому не доверяет. А ведь бог свидетель, как паши друзья были огорчены и искренни. Поставьте себя на их место. Они только о том и просят, чтобы им разрешили оказать помощь своим единоверцам. Вы — настоящая алжирка и вдобавок настоящая женщина — непременно хотите поцаловать пальцем в небо.

Несмотря на этот страшный фон, отступивший вдаль, мы продолжали вести оазисную жизнь с прогулками и медлительными разговорами. На мою долю часто выпадали беседы с женщинами закрытого квартала, которые отправлялись каждое утро прогуляться немного на солнце по уединенной дороге, неизвестной благомыслящим. Я присоединялась к ним, и они интересовались моей жизнью, моей одеждой, задавали мне тысячи вопросов, ребячливых и нескромных, и на мои ответы молоденькие женщины смеялись как дети. Я доставляла им бесплатное развлечение. Старухи поглядывали на меня искоса, не слишком доброжелательно, но остальные, как и я сама, не обращали на них внимания. Я возвращалась домой с целым ворохом рассказов, и сколько раз я жалела, что не умею рисовать! Какими словами заменить неповторимую живую черточку? Мне казалось, что слово не может так хорошо все передать.

Случалось, что дома я заставляла шум и суету: Абд-эль-Кадер принимал друзей или родственников.

Однажды вечером я оцепенела, натолкнувшись в первом дворе на двоих тощих мужчин, которые жарили над костром барана на вертеле. Они его поворачивали, поливали; пахло приправами, горелым салом; мясо начинало поджариваться. Рядом, на кухне, несколько негритянок хлопотали над приготовлением соусов, толкли по очереди перец, пряности и кофе, раздували три или четыре печки, перебрасываясь вопросами, болтая без умолку, ругаясь и хохоча. Абд-эль-Кадер с важным видом, в стороне от этой суеты, дожидался меня на верху лестницы, чтобы узнать, где и как ему накрывать на стол. В его распоряжении были скатерть, салфетки, стаканы, тарелки и приборы. Он напыщенно, в полном сознании важности своей миссии, возвестил мне о распоряжениях, которые получил тотчас после моего отъезда.

— Будет двенадцать человек... считая вас,— прибавил он вежливо.

Ага не замедлил явиться: да, да, он несколько поторопился с приглашением, но он непременно хотел повидать меня раньше прибытия своих гостей, хотя достаточно знаком со мной и потому уверен, что я на него не рассержусь. Тут целое сплетение обстоятельств: его сын только что оправился после тяжелого тифа, и нужно принять парижан, людей очень богатых, промышленников. Что он мог сделать? Принять в гостинице — я сама могу судить о ней! Тогда, не имея времени предупредить меня, он все же решил устроить угощение у нас, и вот только теперь, на месте, понял, до какой степени мы неблагоустроены: ни стульев, ни стола, а гости сейчас явятся.

— Ну и что! Постелим скатерть на ковре, а сами усядемся вокруг по старинному местному обычаю, — предложила я.

— Прекрасная мысль! Ах, уж эти француженки!

Ага тряс мне руки в знак признательности и дружбы. Я спасла положение. Вечером он сидел против меня в окружении хороших женщин, которые не понимали, в чем дело; два



незнакомых господина, сидевшие со мной рядом, недоумевали: кто же их принимает? Жан был серьезен, как ребенок в непривычной обстановке, а Альбер забавлялся, глядя, как я исполняю обязанности хозяйки дома. От Абд-эль-Кадера я узнала, что днем туристы провели время в имении Аги, где мы по разным причинам никогда не были. Говоря о прекрасных садах, известных мне только понаслышке, и делая вид, будто не придаю никакого значения своим словам, я сказала:

— К несчастью, вам, вероятно, испортило прогулку то обстоятельство, что пришлось проехать мимо стоянки голодающих кочевников.

— Да, это ужасно! — вскричал мой сосед справа.

Жан чуть не поперхнулся. Ага, наливавший вино французам, слегка ухаживая за обеими, принял печальный вид. В нескольких прочувствованных словах он выразил безмерное сострадание, раздирающее ему сердце. Я взглядом остановила вопросы, которыми Жан собирался разразиться, а потом постаралась ему объяснить, что от возобновления дела о кочевниках никто не выиграл бы.

— Чем же вы объясняете эту ложь?

— Он не хотел поднимать истории: ведь он чиновник.

— А не тем, что ему было стыдно?

Бедный голубоглазый Жан! Ага не допускал, что он в самом деле так наивен. Ему ни на секунду не пришло в голову, что мы поверили в басню, которую он нам преподнес. В его глазах это была с обеих сторон лишь игра вежливости; он не мог пойти навстречу нашим пожеланиям по причинам, которые трудно изложить; поэтому он нам представил другие объяснения, а мы доказали свое хорошее воспитание, сделав вид, что приняли их. Ему, как и нам, приходится выслушивать жалобы тех, кому невозможно помочь. Из-за хлеба, который бы им протаниули, они растерзали бы друг друга.

Прожив несколько недель в оазисе — причем нам так и не удалось уплатить за жилье («владелец дома должен быть вам благодарен уже за то, что вы его подмели»), — мы решили посмотреть, не понравится ли нам Мзаб. Мы приняли это мужественное решение, быть может, потому, что чувствовали себя здесь как дома. Мы сели в автобус, идущий на Гхардайю, оставив в оазисе свои пожитки, за которыми вернулись через двое суток. Всю эту неделю никого, кроме нас, не было видно на дороге — и на какой дороге! — на каменистой тропинке, под

беспощадным солнцем. Мы не понравились жене полковника, командира округа, и она была права: она с полным основанием могла принять нас за немного сумасшедших, а кроме того, мы не сделали ей визита, нам просто не пришлось в голову, что это может доставить ей удовольствие. Мы не для того отправились на юг, чтобы знакомиться и общаться с офицерами, но нам все-таки пришлось остановиться в военном «бордже»¹ в Гхардайе, где тогда не было гостиницы. Там я узнала от одного болтливого молодого человека, что жена полковника не считает нас за людей хорошего общества. Зато мы оказались в компании людей гораздо более колоритных: молодых французов, еще сохранивших вкус к приключениям, и местных мозабитов². Один из них — отколовшийся от своего общества, едва вырвавшийся из среды, которая опять неизбежно его захватит, с видом превосходства соглашался ввести нас в эту среду, чтобы удовлетворить свойственное нам, как всем руми³, ненасытное любопытство, верный признак нашей ребячливости. Жан всему удивлялся и задавал кучу диковинных вопросов. Альбер все отмечал про себя. Оба они работали со страстью. Для нас троих это было исключительным временем, с которым предстояло скоро расстаться и которого никогда не обрести вновь. Мы вернулись в Алжир, совершив обход по пустыне, чтобы продлить кочевую жизнь, во вкус которой мы вошли.

В течение этого путешествия с Альбером я поняла, что нам надо жить вместе, но он дольше меня не отдавал себе в этом отчета. В первый раз, когда я об этом с ним заговорила — это было сверкающим весенним утром на берегу моря, и мы предавались воспоминаниям о юге, которые нас связывали, — он начисто отвергнул обсуждение этого вопроса и так расстроился и огорчился, что мне же пришлось его утешать. Он не мог мне дать никаких объяснений. Не потому, что скрывал от меня что-то из прошлой жизни, нет, он лишь боялся меня поранить, огорчить, потерять меня. По существу, ему не хватало доверчивости, но он не смел мне в том признаться. И не только в

¹ Бордж — форт.

² Мозабиты — жители области Мзаб в Сахаре; мусульмане-сектанты.

³ Руми — возникшее в древности у арабов название византийцев, в настоящее время обобщенное название европейцев, принятое у арабов Алжира.

отношении меня, но и всего в жизни. У меня могли измениться вкусы и убеждения, — он признавал за мной это право. Он утешился лишь тогда, когда я спокойно, без всякой горечи, положила ему то, о чем догадывалась. И в тот год, расставаясь, мы оба осознавали, что тесно сблизились, и сблизились именно благодаря тому, что чуть было не разлучило нас. Я поняла тогда, что мне придется восстанавливать утраченное за годы одиночества, излечивать скрытые язвы.

Лето 1921 года Марке провел в Ла Шом, рыболовецком порту Сабль д'Олонна, в семейном пансионе. Он часто писал мне коротенькие письма, дополненные набросками, которые говорили мне о его соседях по столу гораздо больше, чем подробные рассказы. Он ждал моих писем с нетерпением, которое стало обычным в его общении со мной. Достаточно мне было опоздать хоть на четверть часа, чтобы он уже вообразил, что меня раздавили, и мы оба поэтому были всегда точны. Однажды нам случилось, помимо воли, заставить кого-то ждать; Альбер был этим так расстроен, что я решилась заметить:

— Неужели ты думаешь, что этот человек на твоём месте стал бы так портить себе кровь?

Он ответил суховаго:

— Мне нет дела до того, как поступил бы другой на моём месте; что касается меня, то есть поступки, которых я предпочитаю избегать.

— И предпочитаешь, чтобы и я их не делала?

Он пожал плечами. Ну о чём тут было спрашивать? Я хорошо знала, что никогда не буду пользоваться той снисходительностью, какую он расточает другим. Её легко оказывать людям, от которых ничего не ждёшь и без которых при случае можно обойтись. Если бы я не существовала, Альбер ни с кого бы, кроме самого себя, ничего и не спрашивал, и то, что он от меня что-то требует, меня лишь радовало.

Эта требовательность проявлялась у него очень определённо, и с нею было трудно сладить, а происходила она от его прямодушия. Он не мог удовлетворяться полуискренними оправданиями и обманываться в себе или в других из любезности или вялости мысли. Он предпочитал прослыть за бесчувственного, чем притворяться. Он не терпел никаких преувеличений и недобросовестности, которая большей частью, во всяком случае вначале, порождает эти преувеличения. Лишнее слово было для него мучительно, натянутая улыбка его стес-

няла, если он только не раскрывал, что под ней таится. Он любил жизнь, ему было ненавистно все, что отзывается подделкой, он не требовал, чтобы жест и движения были прекрасны или некрасивы, он хотел, чтобы они были подлинными, то есть чтобы имели определенный смысл. В общем, он страдал от того, что являлось перед ним даже не как прямая ложь, но как оболочка пустоты; вот почему он чувствовал себя лучше на улице, чем в гостиной. Он принял меня такой, какова я была. Помню, как я однажды ему сказала, пока он читал, покачиваясь в кресле-качалке:

— Уж как бы я отдыхала, будь я на твоём месте!

А он не без лукавства ответил:

— Зато как бы я устал на твоём!

Он не требовал, чтобы я изменилась, если не считать одного-единственного раза, в самом конце, когда он сказал с мольбой:

— Не будь такой нетерпеливой!

У него была тогда такая потребность покоя, а у меня такая потребность действия, чтобы не давать себе времени ясно увидеть происходящее!

Когда он был здоров, он спокойно наблюдал, как я спую туда и сюда и даже как возмущаюсь больше, чем надо. Ему нравилась моя живость, которая помогала все улаживать, а мне, наоборот, нравилась его невозмутимость, так как я знала, сколько за нею скрывается силы и уравновешенности.

Когда Альбер зимой 1922 года вернулся в Алжир, мы оба были одинаково рады встрече. Вскоре мы опять отправились на юг, но на этот раз — в поездку на верблюдах от Тугурта до Нефты. Теперь, когда автомашины проходят всюду и самолеты пролетают над Сахарой во всех направлениях, ехать на верблюдах было бы ни к чему. Нас было четверо, из них я одна женщина; путешествие оказалось утомительным. Но мы весело переносили все неудобства. Я ни разу не слыхала, чтобы Альбер на что-нибудь пожаловался или чего-нибудь требовал. Он довольствовался тем, что приходилось на нашу долю, будь то плохой пружинный матрац, а на завтра — тощая соломенная подстилка или просто-напросто утрамбованная земля. Жану Лонуа, который вновь стал нашим спутником, это давалось труднее: ему не хватало то кусочка масла, то морского бриза, то тенистых деревьев. Мы медленно познавали пустыню и начинали лучше понимать кочевников, их внешнюю невозмути-

мость и их любовь к сказкам: они проводили целые ночи, рассказывая их друг другу. Мурлыканье их ровных голосов баюкало наш сон, а днем каждый из нас, сидя в одиночестве на своем верблюде — эти животные не любят ходить вместе, — тоже хотел быть зачарованным занимательной историей, которая скрасила бы бесконечное развешивание однообразной местности. Разница была в том, что нам, людям Запада, не терпелось узнать конец истории, тогда как местные жители задерживались на подробностях и смаковали, как лакомство, мельчайшие описания. Им хотелось, чтобы это было похоже на приближение к оазису, когда в течение многих часов можно наблюдать, как он то приближается, то отступает, вытягивается в одну линию на горизонте, становится плотным, потом растворяется, чтобы превратиться в еще более легкий, далекий колеблющийся туман, или вдруг кажется близким и соблазнительным, то манящим, то обманывающим. Жан, разочарованный тщетой этой игры, в которую, казалось, мы втянулись, замыкался в мрачном настроении, тогда как Альбер всецело отдавался во власть чудесного. В продолжение этого длинного путешествия мы вдоволь побродили по садам оазисов, от абрикосовых деревьев, роняющих плоды, к розовым кустам, усеянным цветами. Всюду нас хорошо принимали, все время мы были увлечены новизной или очарованы и более, чем когда-либо, погружались в атмосферу ирреального, как бы находящегося вне наших жизней и очень привлекательного. Прекрасная история! Можно было ее нам и не рассказывать, но, помимо нашего желания, она близилась к концу.

Помнишь вечер, когда, наслаждаясь покоем и уединением, мы смотрели, как пальмы сада колышутся в небе, где замирает свет? Я начертила тростью на песке круг, заключавший нас двоих, и полусерьезно, полунасмешливо тебе сказала:

— Конечно! И притом навсегда! Ни ты, ни я уже не сможем из него выйти.

Ты ответил мне лишь счастливой улыбкой: лучшие мои воспоминания созданы из твоих молчаний. Теперь я одна в кругу. Неужели это правда? А книга, которую я пишу, разве это не попытка обвести вокруг нас черту, которая удержит нашу связь?

По возвращении из этого второго путешествия на юг мы оба знали, что приближается время, когда мы больше не расстанемся.



Это было в 1923 году. Мы не могли потом сказать, в какой именно день февраля мы поженились; Альбер находил приключение забавным, он сообщил о нем немногим друзьям. Матисс ответил с обратной почтой:

«Напрасно ты воображаешь, будто сделал нечто оригинальное...»

Я еще никогда не видела Матисса. Я знала только Мангена, которого мы встретили однажды в кафе на бульваре Сен-Мишель, и Жоржа Бессона¹. Манген поразил меня своими глазами, живыми и веселыми, а Жорж — тем, как серьезно он ко мне присматривался: «Чем будет эта женщина в жизни Марке?» Он надеялся, что в мои намерения не входит все испортить.

В то время мы жили в Сиди-Бу-Саиде, и нам было там так хорошо, что после короткого пребывания в Париже в июне мы вернулись туда на все лето. Дни, похожие один на другой, нам нравились. Ты занимался живописью, рисовал, а я писала, занималась домашними делами. Возвратившись с базара, я рассказывала тебе, что видела и слышала, и вся страна жила вокруг нас не только как прекрасная декорация. Мы с тобой не были созданы для башни из слоновой кости; мы знали, каков нрав у мясника, у булочника, у лавочника и полицейского. Как и я, ты чувствовал связь с окружающими, даже с животными; их у нас был полон дом: пять собак, кошка — всё животные, которых мы приютили. Однажды вечером к нам пристала собака,

¹ Жорж Бессон — историк искусства; писал о Марке и его современниках.

брошенная туристами; мы не могли выгнать ее на улицу, она была беременна. Она ощенилась тремя детенышами, а отец, пес, который не принадлежал никому, но умел выходить из затруднений, известных ему со дня появления на свет, тоже устроился в доме, — он показался ему вполне подходящим. Пес поедал корм своих детей с предосторожностями, быстро, в ту минуту, когда был уверен, что его не увидят. Никогда он у нас не ночевал — предпочитал поля. Кошку мы нашли на куче отбросов, худую, маленькую, черную от блох. Перед отъездом мы оставили всех этих животных людям, которые взяли их охотно.

Шестимесячное пребывание в Сиди-Бу-Саиде вспоминается как нечто неземное, окруженное и пронизанное светом.

Мы жили одни в краю синевы и белизны, на высокой скале, господствующей над морем. Вновь прибывавшие приносили с собой лишь разнообразие и движение — и никаких забот. Нам было так хорошо там, что мы удивились, узнав, что люди стараются выяснить причину нашего присутствия на скале. Быть может, потому, что они там родились и всегда ее видели, они не догадывались, что их маленький городок — одно из самых удачных достижений мира, неожиданный аккорд белых строений, домов и мечетей, с огромным простором неба и воды. «Слишком прекрасно, чтобы сюда возвращаться», — решил Альбер, и он признался, что в глубине души предпочитает что-нибудь менее совершенное.

— Здесь нечего прибавлять. Все так определено и закончено.

Конечно, в тайной тоске по родине он думал о покосившихся фонарях в закоулках бедной улицы в Аркейле и об убогих домах, которые оттеняют восхитительную красоту Старого Портa в Марселе.

Мы покинули Сиди-Бу-Саид в октябре и вернулись домой с воспоминаниями и холстами. Началась наша жизнь в Париже.

Тут я познакомилась с Матиссом. Он меня удивил. Мы возвращались с прогулки в автомобиле, я была с ним одна в глубине машины; вдруг он сказал безо всяких предисловий, словно атаковал меня:

— А знаете, ведь Марке очень нежен?

Редко бывает, чтобы мужчина говорил подобные вещи о своем друге. Я была несколько ошеломлена и не знала, что ответить.

Я чувствовала, что это вывод из его наблюдений:

— Знаете ли вы, что он страдал? И вы даже не представляете себе, до какой степени! Замечали ли вы, что его легко задеть, причем об этом вам придется догадываться, потому что сам он никогда ничего не скажет? Достанет ли у вас внимательности, чтобы с этим справиться?

Матисс как бы передавал Альбера в мои руки с наставлениями, которых он не решался высказать напрямик. Он инстинктивно давал мне доказательство доверия. Не знаю, удовлетворили ли его мои ответы. Мы были так мало знакомы, что меня стесняло его вторжение в нашу интимную жизнь; однако меня утешало то, что он все отлично понимает.

Я скоро заметила, что за внешней холодностью Альбера скрывается чувствительность, которую легко поранить. Слова, взгляда было достаточно, чтобы он замкнулся в себе. До меня это замечала его мать — я прочла об этом в ее письме к деревенской подруге:

«Вы его знаете; если ему что-нибудь надоело или не нравится, тут уже ничего не поделаешь, остается только уйти. Немного спустя, когда с ним снова увидишься, — все уже прошло».

Если он и не заговаривал опять о том, что причинило ему неприятность, все же оно оставляло след, и лишняя бороздка недоверия бывала процарапана.

Всю жизнь я остерегалась этого и думаю, что удачно, несмотря на осложнения, которые я с собой принесла: заботы и присутствие родни, суету кухарок и других слуг и вообще движение в доме — большее, чем бы ему хотелось. Однажды я задала ему вопрос, который меня мучил:

— Скажи мне правду. Я боюсь иногда, что внесла беспокойство, потревожила твою жизнь. Что же, в конечном счете, я устроила или осложнила дела?

— Ты их, конечно, в общем устроила.

— А ты, как мудрец, удовлетворяешься мыслью, что совершенство не от мира сего.

Мы оба над этим посмеялись. Альбер часто бывал в легком расположении духа, дети это чувствовали и тянулись к нему, хотя он и не старался привлечь их. Достаточно было какой-нибудь шутки, и он с большой легкостью включался в их игры. Песочный замок казался ему не менее значительным, чем работа, о которой толковали с важным видом, хоть у нее и не было будущего. Что вообще нужно, по существу? Заработать свой

хлеб или приятно провести время. Когда перед плохой картиной кто-нибудь высказывал мысль, что следовало бы посоветовать автору оставить живопись, Альбер улыбался: «Что в этом дурного, если это заполняет его жизнь?»

О, если бы люди решились быть просто тем, что они есть, вместо того чтобы раздувать свое значение и уверять, будто без них ничего не получится! Главное, если бы они удовлетворялись собственным обществом! Так нет же, им нужно собираться и приглашать к себе тех, которым ничего от них не надо и кто легко мог бы обойтись без них.

Альбер всегда с удовольствием возвращался домой. Когда мы получали приглашение на прием, где должно было быть много народу, он, собираясь, зачастую мне говорил:

— Не будем там долго сидеть, я рассчитываю на тебя, чтобы скрыться поскорее.

Он никогда не подавал мне знаков, что пора уезжать, предоставляя мне быть там, где нравится, зато как проворно он присоединялся ко мне и какое облегчение испытывал, вновь очутившись со мной на улице! Мы возвращались чаще всего пешком, чувствуя себя как школьники на каникулах.

Если бы с самого начала нашего брака, — когда мы еще недостаточно знали друг друга, — я не жила бы в такой настороженности, я сделала бы Альбера очень несчастным, хоть он никогда и не стал бы жаловаться. Он вносил в жизнь столько сдержанности, такую постоянную заботу о том, чтобы никого



не стеснить, никому не помешать, будь то консьерж или прохожий! Он никогда меня не упрекал, но я чувствовала, что, по его мнению, я слишком вмешиваюсь в ход событий. Я рисковала этим испортить игру. Он предпочитал лишь присутствовать, даже если совершалось что-нибудь для него неприятное. Он не чувствовал себя созданным для того, чтобы гоняться за выгодой, он просто хотел получить от жизни все, что удастся. Он допускал, что неосторожным движением котенок может разбить вазу, расписанную Матиссом, которой он очень дорожил.

Я прожила с Альбером двадцать шесть лет, и он никогда от меня ничего не требовал. Поначалу он не знал, как наладится наша жизнь, я также не знала, и когда я увидела себя в Сиди-Бу-Саиде, в пустом доме, обращенном на простор, над городом, раскинувшимся у наших ног, мне так захотелось там остаться, что я решила справляться со всем как можно лучше. Я научилась стряпать, пользуясь арабским базаром и советами Али-Баба. Если бы я с важным видом заявила: «Не могу же я стоять у печки»,— Альбер согласился бы с этим. Но гораздо приятнее было ему видеть меня за делом, которое всегда выполняли женщины в его семье! Он опять начнет жить по-домашнему, он будет есть у себя за столом, без посторонних, которые вертелись бы возле него.

Итак, жизнь в Сиди-Бу-Саиде как будто вполне совпадала с буржуазным укладом, но была тут керосиновая лампа, с которой мы расхаживали по дому, плохие постели, табуретки, кофейный столик, всегда отпертая кухня и двор, вода, которую нам привозили по утрам в бочонке, собаки, кошки и соседский ребенок, предпочитавший жить у нас, «потому что тут смеются», вечерний покой, который подчеркивали возгласы муэдзина...

Если бы мы не уехали оттуда через полгода, мы, пожалуй, остались бы там на всю жизнь.

В то время как я покидала Сиди-Бу-Саид, затаив тоску по Востоку и свету, Альбер вновь обретал Париж. Он мечтал о нем с детства, он там жил в юности, в суровые, но плодотворные годы. Туда после всех своих бродяжничеств он возвращался, как возвращаются в гавань. Он чувствовал себя дома на набережных от Нотр-Дам до Пон-Нефа, на улицах, в гуще толпы и, наконец, в Лувре, куда он часто заходил на часок, всегда оплачивая вход,— я отмечаю это потому, что, как я уже говорила, он не дорожил своей известностью. Ничто не забавляло его так, как недоразумения. Он смеялся от всего сердца, когда какой-то прохожий при нашем выходе из кино на бульваре Сен-Мишель сердечно приветствовал его: «Добрый вечер, господин Огюст».

А однажды арабский чиновник в оазисе, желая проявить любезность, но припоминая Альбера смутно, колебался, как назвать его:

— Господин Леконт... граф...

— Нет, Марке.

— Ах, извините, я сказал «граф», а вы маркиз!¹

Марке восхищало, что известность обычно не выходит за узко определенные границы; это было для него верным залогом свободы.

Одна из наших квартирных хозяек в Сабль д'Олонне сказала мне в первые дни водворения у нее:

— Моя дочка несколько лет назад (это было в 1933 году) занималась живописью, теперь она это оставила; слишком трудно стало продавать картины. Но в одном салоне в Париже (она теперь не помнит в каком) ей как будто довелось слышать о господине Марке. Но я ей сказала, что это очень распространенная фамилия, поэтому...

Я не могла вытерпеть, пока Альбер закончит сеанс, чтобы рассказать ему эту историю. Он был в восторге. Не откладывая кисти, он заметил:

— Она² встречается даже у Рабле.

¹ Недоразумение построено на созвучиях фамилии Леконт с французским словом «конт» (граф) и Марке — со словом «марки» (маркиз).

² То есть фамилия Марке.

Мне случилось во время путешествия за границей предложить ему пойти в наше посольство или консульство, чтобы устроить одно дело. Он был против:

— Под каким предлогом ты к ним обратишься?

— Я представляюсь.

— И ты воображаешь, что твое имя им что-нибудь скажет?

Вскоре после того, в Египте, нам пришлось ожидать подписи французского консула под бумагой, разрешающей нам ввоз во Францию картин, только что написанных Марке. Мы смиренно сидели на молескиновой банкетке, и когда с порога канцелярии чиновник бесцеремонно окликнул: «Художник!» — Марке бросил на меня торжествующий взгляд. Альбер всегда удивлялся и испытывал смущение, если незнакомый человек бывал ему рад и взволнован встречей с ним. Он считал себя просто человеком среди людей и старался ничем не выделяться из толпы.

Теперь, когда мне стало трудно жить вне Парижа, меня мучают угрызения, что я так долго к нему привыкала, и я думаю о том, как много требовалось от Альбера терпения, чтобы выносить, что я жила в Париже лишь наполовину, и большей частью — в ожидании отъезда. Я могла вдруг предложить ему в середине зимы: «А не поехать ли нам к морю?» — и он соглашался. Мы тотчас укладывали чемоданы и отправлялись в путь, и вскоре он наслаждался зрелищем подвижной воды и судов, так что, не обманываясь, я могла думать, что поступила правильно.

В течение ряда лет мы много путешествовали, большей частью в автомобиле. Сначала это был фورد на высоких колесах, водители мы были неумелые и обращались с ним жестоко; но худо ли, хорошо, а перегруженная машина храбро пересекала Францию во многих направлениях, а также Испанию и Северную Африку. Не раз мы терпели аварию — мы, должно быть, плохо смазывали машину — и застревали в таких деревнях, куда вовсе и не собирались; но мы хорошо себя там чувствовали. Таким образом мы познакомились с Юзершем¹, а так как починка машины затянулась, то и с его окрестностями, — тут мы пользовались маленькими медлительными поездами со сложным расписанием. Самая банальная комната становилась

¹ Юзерш — старинный город на Везере с памятниками средневековой архитектуры.

нашим домом, раз мы были в ней вместе. Но, конечно, из нее должен был быть хороший вид.

Никогда я не видела Альбера в худшем расположении духа, чем в Галаце, в Румынии, где прекраснейшая гостиница находилась на какой-то безликой улице. Он без конца ворчал: «Стоило ли проделать столько километров? Можно подумать, что находишься в Бекон-ле-Брюйере». Через два дня он мне объявил, что больше тут не останется. Он чувствует себя, как в тюрьме. Дунай с его тяжелыми волнами и шумными набережными находился недалеко, однако, прогуливаясь там, Альбер не отыскал местечка, где мог бы удобно работать. Все уже было уложено, как вдруг некий румын, высокопоставленный чиновник и любитель живописи, предложил нам устроиться на борту судна, которое стояло на рейде без оснастки. Каюта была тесная, комфорт недостаточный, но на палубе мы себя чувствовали участниками деятельной жизни порта. Мы провели там несколько недель и уже не тяготились этим.

Почему Марке так любил путешествовать? Не из любви ли к свету и не для того ли, чтобы отмечать его изменения от востока к западу, от севера к югу? Или для того, чтобы не поддаться власти привычки, которая грозит притупить даже самый живой дар наблюдения? Конечно. Но также, я думаю, и потому, что ему хотелось быть со своим ящичком, кистями, холстами, альбомами и карандашами в такой стране, где, не зная никого, он мог бы жить совершенно независимо. Ему всегда бывало трудно входить в общение с людьми, даже с теми, которых он давно знал и которые ему были приятны. Однажды я застала его с Франси Журденом¹, давнишним другом, и все-таки обоим было очень не по себе. Франси изощрялся, стараясь чем-нибудь заинтересовать Альбера, а тот настороженно прислушивался в надежде услышать звук моих шагов. Когда я появилась, он почувствовал облегчение; я была нужна ему как посредница. Несколько незначительных слов и улыбки достаточно, чтобы создать атмосферу дружбы. Альбер следил за моими словами и действиями со спокойным удовлетворением, с тайным восхищением, но и не без легкой иронии.

¹ Франси Журден (1876—1959) — архитектор-декоратор, а также живописец и график, инициатор и первый президент «Осеннего Салона» в 1903 году, автор монографии «А. Марке».



— Как ты умеешь врать! — говорил он.

Он мог отдаваться встрече лишь целиком, это возможно не часто и только с избранными. С самыми близкими друзьями, Камуэном и Луи Жу¹, он выходил из положения, играя в шахматы, и так как он ими очень увлекался, то друзья целыми вечерами только и говорили о дебютах, гарде, шахе; они спорили, и этому не бывало конца. Я следила за игрой, иногда подавала совет или делала замечание и ловила себя на том, что мне самой хочется принять участие в игре. Альбер отсылал меня разговаривать с женами своих друзей. Один из них менял жен довольно часто, и так как он выбирал молоденьких и свеженьких, но ничуть не заботился, о чем они могут говорить, мне случалось немного скучать в их обществе. Я воображала, что, захваченный игрой, Альбер ничего не видит, но едва мы оставались одни, как он высказывал свое мнение о моей собеседнице в трех-четырех столь метких словах, что я чувствовала себя вознагражденной за потерянное время.

¹ Луи Жу (род. 1882) — уроженец Испании, гравер и иллюстратор, новатор в художественном оформлении книги. Иллюстрировал Ронсара, Боккаччо, Макиавелли, Сервантеса, Мериэме, А. Жида и других.

Этот неустанный путешественник любил свой дом, и хотя, казалось, он быстро осваивался всюду, куда бы мы ни приехали, он считал, что он у себя только в Париже, в первые годы нашего брака — в доме № 19 на набережной Сен-Мишель, а потом — в доме № 1 на улице Дофины. Как и все, мы бегали по магазинам, покупали мебель, ткани и ковры, расставляли столы, шкафы, диваны и вбивали гвозди. У Альбера они часто гнулись, а так как в подобных мелочах он вновь становился южанином, то начинал кричать и браниться, особенно в первое время после женитьбы, — чтобы я появилась взволнованная и недоумевающая: в чем дело? Он никогда не производил предварительных обмеров, и если я делала ему замечание, что рама или занавеска висят криво, он только плечами пожимал: «Так непринужденнее!»

Внешняя законченность ужасала его, как ложь. Устройство квартиры его занимало, он не отказывался пойти лишний раз за покупками: он интересовался всем, вплоть до кастрюль, усовершенствованных терок и последних моделей щипцов для колки орехов. Я уже не говорю о винах. Как уроженец Бордо, он знал в них толк. Аппетит у него был весьма умеренным, но он дорожил тем, чтобы стол был обильным и изысканным; сам необщительный, он любил окружение друзей. Сидя против меня, он чувствовал себя хорошо и спокойно; он ни на секунду не отвлекался, никого не забывал и, не подавая вида, думал обо всех. Если я бывала рассеяна, он незаметным взглядом обращал мое внимание на то, что «прихрамывало». Он ничего не выбирал для нашего дома, не спросив моего мнения; он высказывал свое, мы вместе обсуждали, и он вовсе не считал себя непогрешимым. Он играл в устройство дома, я тоже, и всё, что мы с такой радостью собирали, расставляли, всё, чему мы оба радовались, как дети, которые верят в игру лишь наполовину, мы всегда были готовы в любую минуту бросить, — не только не жалея, но с чувством облегчения, что можно поднять якорь и выйти в открытое море.

Я вспоминаю наши чудесные отъезды: десять, двенадцать, пятнадцать чемоданов, ящиков и свертков выстроились в ряд в коридоре в ожидании погрузки. Пессимист Альбер уверяет, что все это не уложить в машину, но при помощи определенной системы, старания, ремней и, наконец, дополнительных веревок все размещалось, ничто не вываливалось, один сверток подпирал другой, и мы пускались в путь, снабженные хорошо

изученным путеводителем Мишлена, от которого порой отклонялись в сторону на призыв леса или речки, или более удобного шоссе, или дорожки под цветущими деревьями. Мы меняли направление и оказывались в Сёте после того, как невзначай проехали через всю Бретань и Вандею, хотя направлялись в Кагор. Там я узнала, каким образом Альбер семи лет «открыл» Средиземное море. Потрясенный ярким цветом моря, он зачерпнул воды в горсть и был крайне изумлен, убедившись, что она вовсе не голубая. Он узнал тогда, что цвет воды непостоянен, но продолжал восхищаться его изменениями в зависимости от неба, от ветра, и целое лето мог поддаваться очарованию игры воды в каналах, в порту, где он поджидал выхода и возвращения рыбацких лодок, точных, как танцовщицы. Вскоре у набережной уже стояли лодки с убранными парусами, и глаза, умеющие видеть, могли любоваться привлекательными линиями их ярко раскрашенных корпусов и смелыми взлетами мачт. На первом плане — только что высадившиеся моряки; они движутся медленно, будто сознают значение человеческих фигур в общей панораме, которую художник охватывает сочувственным взглядом.

Марке работал в помещении недалеко от маяка или на балконе гостиницы. Друзья писали нам: «Что вы делаете в этой стране бочек?»

Это была также страна света и воды, окружающей ее со всех сторон, и без единого художника или человека, которому бы пришлось в голову провести там лето.

Не всегда жилось нам так хорошо и спокойно.

Год спустя мы были в Норвегии, в доме, стоявшем в глубине фьорда, и от нас, шестерых французов, там было больше шума, чем от всех жителей соседней деревушки с их многочисленными детьми. Далеко доносились наши разговоры, оклики, смех.

Жилось нам привольно. Рыбная ловля, купанье, прогулки и регулярная работа наполняли нашу жизнь, течение которой мы иногда нарушали ради поездки морем до финляндской границы, в Ледовитом океане. Из одного порта, куда мы зашли во время этого извилистого путешествия от фьорда к острову и от острова к мысу или рыбацьей стоянке, по водам таким спокойным, что нельзя было отличить предмет от его отражения, мы послали Матиссу поздравление с получением ордена Почетного легиона. Мы взяли открытку и подписали всеми норвежскими женскими именами, какие только знали.

Когда мы вернулись, Матисс в продолжение целого завтрака излагал Альберу соображения, по которым он решил принять орден; Альбер ни разу не прервал его ни вопросом, ни восклицанием, ни словом одобрения:

— Ну что ж, если тебе это доставило удовольствие... — только и мог сказать равнодушный Марке.

В другой раз я видела, как Матисс не то чтобы пришел в замешательство, — это слово будет грубо, — но, скажем, был захвачен врасплох и постарался переменить разговор. Это было время, когда решительно все следили за курсом биржи и в той или иной мере спекулировали. Матисс зашел к Альберу, чтобы направить его на путь истинный — он знал, что Альбер непрактичен и весьма беззаботен в такого рода вопросах. Поговорив о прошлом и посмеявшись старым воспоминаниям, Матисс без дальнейших предисловий сказал:

— Тебе надо бы купить золота.

— А ты купил?

— Немного, и уверяю тебя, в наше неверное время — это лучший вклад.

— Так ты больше не уверен в «матиссах»? — отразил Альбер самым невинным тоном.

Матисс не знал, что ответить. Он решил засмеяться. Вероятно, он пожалел о своем вмешательстве, в котором видел лишь долг дружбы, — оно ведь ни к чему не приведет. Марке оставался самим собой, и деньги никак не могли изменить его точки зрения; он решительно держался вне игры, она его отнюдь не интересовала. Значительная доля человеческой деятельности проходила мимо него, он в ней никогда не принимал участия. Она казалась ему искусственной и необоснованной, а он был привязан лишь к тому, что считал подлинным. Он любил покупать то, что ему было нужно, или то, что доставляло удовольствие, но покупать для того, чтобы извлечь выгоду, казалось ему нелепым.

Я присутствовала — это было в Алжире — при разговоре Альбера с неким коллекционером, которому он отказывался продать картину под предлогом, в его глазах вполне достаточным, что у него и так есть на что прожить этот год. Тот пытался соблазнить Альбера: «Вы могли бы приобрести владение». Альбер ответил: «У меня уже есть то, в котором я живу». Деловой человек слегка презрительно обвел оценивающим взором нашу обстановку и, опираясь на свой опыт, пояснил: «Мы не

понимаем друг друга,— я говорю о доходном владении». На это Альбер улыбнулся с самым простодушным видом:

— Это не мое ремесло. Мне нравится только это владение, и, может быть, именно потому, что оно мне обходится не даром.

Бессильный изменить его точку зрения, собеседник все же почел нужным настаивать; ведь в конце концов всякий поймет свою выгоду!

— Да, я понимаю, что вы не хотите заниматься сельским хозяйством, на это нужны время и опыт, но почему бы вам не купить недвижимость? С хорошим управляющим. Я мог бы вам такого рекомендовать, с этим делом легко справиться.

Альбер не мог скрыть своего изумления. Он не представлял себе, как это он станет принимать от съемщиков деньги и выдавать расписки. Он считал, что ему предлагают неблагоприятный поступок. Каждый раз, когда он чувствовал себя за сто лье от того, кто сидит против него, Альбер действовал одинаково: не пытаясь объясниться, он замыкался в молчании. Нет, он не сдастся! Картины останутся при нем. Отвязавшись от посетителя, который ушел обиженным, ибо так ничего и не понял в этом тупом упрямстве, Марке заметил: «Ну и понятия у этих людей!»

Часто коллекционеры, с которыми Альбер беседовал, бывали удивлены, когда он внезапно обращался ко мне с вопросом:

— Ты хочешь продать?

Не могли же мы всем объяснять, что Альбер не знает, сколько у нас денег, и что в материальной области он всецело полагается на меня. Так было со времени нашего путешествия в Норвегию, когда после двух переездов через границу он решил, что вопрос обмена денег не стоит того, чтобы самому на это тратить время.

Когда-то Дрюе тоже забрал себе в голову обеспечить старость Марке. Он уговорил Альбера подписать страховой контракт, который гарантировал ему по достижении шестидесяти лет ежемесячную ренту в триста франков.

— Единственный раз, когда я поступил как практический человек, из этого ничего не вышло,— говорил Альбер,— ведь я платил золотом, а если бы я подсчитал, что я получаю, то...

Но он и не подсчитывал.

Когда при Альбере обсуждали цены на что-либо, его мнение было неизменно:



— Цена на всякую вещь зависит только от желания или необходимости иметь ее.

Я слышала однажды, как Альбер ответил посетителю, который добивался узнать его мнение о какой-то картине, выставленной в Салоне французских художников:

— Я ее не видел, — осторожно сказал Альбер.

— Но вы же наверняка знаете работы этого художника! Вы могли бы мне сказать априори, стоит ли мне покупать его картину.

— Если она вам доставляет удовольствие, то самое правильное будет ее купить.

В этом случае он поступил в духе Боннара¹, который сказал однажды любителю, обеспокоенному тем, что цены на живопись падают:

— Любопытно: вы считаете естественным, что автомобиль, который вы покупаете, теряет пятьдесят процентов своей стоимости после первого выхода из гаража, а от живописи требуете, чтобы кроме удовольствия она приносила бы вам еще и доход!

Однажды мы встретились с Боннаром в Гренобле; мы ехали в своем автомобиле, он — в своем. Цель у нас была одна — Париж. Но Боннар не так торопился, как мы, ибо мы уже не-

¹ Пьер Боннар (1867—1947) — живописец и график группировки «Наби».

сколько месяцев находились в отъезде, тогда как Боннар устроил себе трех- или четырехнедельную прогулку, хотел повидать друзей и с удовольствием петлял по пути. Он чуть не потерял чемодан, который на протяжении многих километров держался всего лишь на одной веревке, — она оказалась прочнее, чем ремни.

— Разве вы не заметили никакого необычного стука?

— Да ведь в машине часто слышатся стуки, которые не знаешь, чем объяснить.

Альбер и Боннар собирались обменяться картинами и говорили об этом при каждой встрече. Но жизнь их разлучала, время шло, и обмен так и не состоялся.

Впрочем, Марке никогда не стал бы сам напоминать об этом. Однажды я была свидетельницей того, как он не решался понять очень определенное предложение Майоля¹. Еще раньше, до нашей женитьбы, бывая у Ренуара, Альбер остерегался признаться, как его захватывает живопись Ренуара, — он боялся, что ему припишут корыстную заднюю мысль. Лишь тот, кто мало знал Альбера, мог так о нем подумать: никогда Альбер не искал ни наживы, ни выгоды. Он никогда не пользовался никакими льготами. За всю свою жизнь он один лишь раз воспользовался скидкой для проезда в Египет, и то это пришло в голову одному из хранителей Лувра, который о том и позаботился. Альбера очень смущало, что большинство из тех, кто толпился вокруг Ренуара, были заняты мыслью, как бы что-нибудь выманить у художника бесплатно или подешевле.

За время нашей совместной жизни Альбер ни разу за столом не брал кушанья первым и ни разу не пропустил случая уступить мне место. Все это как будто мелочи, но лишь в постоянстве этих ничтожных повседневных поступков раскрывается характер: именно в таких обстоятельствах, когда ни к чему принимать позу и кого-то из себя разыгрывать.

Даже в последнее время, когда силы твои были на исходе, когда нужно было подложить тебе под спину подушку, подставить под усталые ноги скамеечку, ты пожимал мне руку, ты мне улыбался, ты не забывал так или иначе поблагодарить меня. Ты делал вид, будто тебе лучше, ты даже делал вид, будто веришь в многочисленные лекарства, которые пробовали при-

¹ Архистид Майоль (1861—1944) — французский скульптор.

менять. Ты был потрясающе добродушен. Ты никогда ничего не обещал, зато отдавал все!..

Часто бывает, что, несмотря на тесные узы, связывающие людей, они подчиняются им лишь наполовину. Интересы, желания, сожаления влекут их в разные стороны. Каждый прячет кое-что в себе, и вокруг создается темная, холодная зона, за которую проникает не всякий, кто захочет. Твое отношение ко мне было другим. Иной раз, заметив мое взволнованное состояние, ты спрашивал:

— Что случилось?

Я отвечала:

— Ничего.

Это была правда, и тебе не требовалось дополнительных объяснений; ты понимал, что можно быть растерянной без определенных оснований, потому что в тот момент, когда молнией блеснет в сознании мысль, что все ускользает навеки, внезапно чувствуешь головокружение.

Тебе нечего было предложить мне, кроме своего присутствия и утешения от мысли, что я рядом с тобой, — да, рядом, до самого конца, когда ты, как будто испрашивая моего согласия и одобрения, произнес:

— Скажи, при таких условиях, по-твоему, стоит жить?

А условия эти были тебе только что изложены Матиссом: побольше отдыха, остерегаться холода, жары, сквозняка, следить за питанием, всегда иметь при себе человека для ухода: секретаря, сиделку дневную, сиделку ночную. Ты испугался:

— Столько народу! Никогда не быть одному! Во мне нет ничего генеральского, я не люблю командовать. — Ты смотрел на меня, ты ждал, что я соглашусь с тобой, но у меня не хватило мужества, я признавала, в какое одиночество я вступаю.

Альбер понял, что моя лихорадочная активность — своего рода бегство. Каждый живет, как может, каков он есть. Он знал это и потому мирился с тем, что я была занята множеством забот, которые осложняли его жизнь. Он не считал себя вправе держаться в стороне, он никогда не говорил об особых требованиях, которые предъявляет его искусство, и посторонние люди быстро утомляли его только потому, что он не мог к ним приспособливаться.

— Неужели им нечего делать и у них нет дома? — говорил он в конце концов о тех, которые засиживались у нас допоздна,

бывали преисполнены сочувствия, не зная, как извлечь нас из той пропасти, в которую мы оба все глубже погружались.

Мы всюду вели одинаковый образ жизни. Для тех, кто наблюдал нашу жизнь извне, она могла показаться однообразной, я отдавала себе в этом отчет; но для нас она повсюду была насыщенной и богатой. Одних твоих исканий было достаточно, чтобы придать ей вес и напряжение. По окончании сеансов тебе был необходим отдых, непринужденность, общество ребенка, собаки, кошки, тебе нравились их игры, ты любил прогулки на автомобиле или пешком — они давали нам возможность хорошо узнать местность, которую ты писал. Ты не меньше моего интересовался людьми, поэтому я могла рассказывать тебе, что я видела. Редкий день проходил без того, чтобы мы не увлеклись чем-либо, чтобы нас что-нибудь не задело.

Мы оба любили Бальзака и Стендаля; несколько строк Бальзака ты прочел и в свой последний вечер, 13 июля 1947 года. Каких именно? Не знаю. Мне не пришло в голову отложить эту книгу, и в дни растерянности ее убрали со всеми остальными. Да это и не имеет значения! Она не была выбрана тобой сознательно, из твоих рук уже все ускользало! В тот день ты еще бодрился. Ты не хотел думать только о себе, ты пытался уклониться от неизбежного, приближение которого чувствовал. Ты хотел подчеркнуть, что по-прежнему придаешь своей жизни лишь ограниченное значение, ты до конца сохранял прямоту, которое побуждало тебя ставить вещи и людей на свои места, никогда не забывая о том, что они лишь часть целого, с которым неразрывно связаны, и ты, как всегда, сказал мне «спокойной ночи». Но я хорошо усвоила твою школу, поэтому — перевернем тему.

Во всех странах, куда Альбер увлекал меня за собой, с юга до севера, от Европы до Африки, я всегда видела его внутренне свободным и готовым все понять. Он ни от чего не отстранялся, он смотрел, слушал, и ему было хорошо на улицах и набережных. Он избегал лишь официальных приемов. Однажды его пригласили в Америку в качестве члена жюри Института Карнеги¹, в последний момент он улизнул. Матисс раскрыл перед

¹ Институт Карнеги основан по завещанию Эндрю Карнеги (1837—1919), шотландца по происхождению, ставшего «железным королем» в США и с 1906 года занимавшегося организацией культурных учреждений.

ним блокнот, где час за часом была намечена программа переездов и приемов. От такого множества обязательств, речей, визитов с сопровождающими, банкетов, расспросов и интервью Марке пришел в ужас. Он представил себе, как вокруг него будут толпиться, станут осаждать просьбами, торопить, не давая ни минуты передышки; он предпочел свободу и, решив остаться во Франции, пережил восхитительный день. У него создалось впечатление, будто он избавился от опасности, а чтобы окончательно оправдаться в собственных глазах — как-никак, он нарушил контракт, что было не в его привычках, — он говорил:

— Я бы их разочаровал. Кто-нибудь другой проделает все это лучше меня.

Другой раз, в Египте, держа в руках пригласительный билет на прием в королевский дворец и читая: «...в вечерних туалетах, при знаках отличия», он повернулся ко мне со словами:

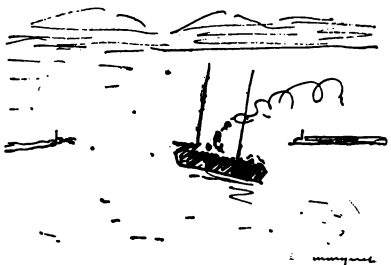
— А что, если нам отправиться сегодня вечером поездом до Асуана? Ты можешь послать им письмо с извинениями.

Это бегство подарило нам три недели на Ниле, в местности, где мы никого не знали. Нас отвлекало лишь несколько мало стеснительных приезжих, с которыми мы иной раз проводили вечер в разговорах и прогулках, а на другой день — снова Нил, пески и рассказы лодочников, а в гостинице — незнакомцы, о которых мы выдумывали всякие истории, воображали себе их прошлое, их занятия и по тону их разговоров старались угадать их характер и отношения. Мы наделяли их прозвищами, а Альбер дополнял игру несколькими быстрыми набросками.

Восток стоял у наших дверей во всемогуществе древних легенд и своеобразия, и в минуту отъезда нам показалось невозможным покинуть эти места, как покидаешь другие, — попросту сев на поезд. Мы нашли фелуку, двух лодочников, повара, с которым я вела утомительные переговоры наполовину по-арабски, наполовину по-английски, и вплоть до Луксора мы лавировали от берега к берегу, спали на дне барки под холщовой палаткой и готовили на задней скамье еду, не слишком вкусную и горячую, зато тщательно разложенную. Ночи были холодные, а дни знойные. Первый день показался нам нескончаемым, но начиная со второго мы до того утратили чувство времени и так наслаждались покоем на этой тихой воде, меж двух одинаковых берегов, что уже не стремились достигнуть Луксора и не желали ничего другого; мы поддались очарованию, которое исходит из этой страны, где все, кажется, разворачивается в одном и том

же ритме на протяжении веков. Но это только так кажется, потому что, я знаю, там построены большие плотины и значительно расширена обрабатываемая площадь земли; однако этого не видно: Нил по-прежнему несет все те же лодки, все так же высятся их мощные носы и громадные паруса. В течение многих дней, размеренных и подобных друг другу, с лодок доносится все те же песни черных худощавых местных жителей, все те же тягучие мелодии утешают их при выполнении работы, которую они унаследовали от предков и которую продолжают их сыновья. Тотчас после каймы зелени, которая появляется у берегов после разлива, до самого горизонта расстилаются пески, расстилаются до бесконечности и маяят отправиться в путь без цели и смысла, реально или в воображении. Ну и что? Нигде ведь не достигнешь ничего иного, кроме умиротворения горестей и забот, а в конце пути — нужно ли говорить об этом? — все кажется одинаковым. Остается лишь посмотреть на себя, улыбнуться и постараться продолжать игру собственной жизни.

Луксор! Мы уже видели его храмы и гробницы в неприятной атмосфере ярмарки, и у нас не было желания еще раз посетить Долину царей. Мы удовольствовались бы прогулками среди высоких колонн ночью, без проводников и туристов. К тому же гостиница оказалась благоустроенной; среди ее обитателей было много людей, наживающих деньги и занятых расчетами, и таких, которые гордились большими тратами. Бедняки, жители окраин, казалось, принадлежали другому миру, и лишь немногие осознавали узы, которые соединяют слишком откормленных с голодающими. Марке одинаково смотрел и на тех и на других своим ясным взором, но чувствовал себя уютнее на простой циновке мавританского кафе, чем за столом во дворце, где присутствие слишком вежливого лакея стесняло его. Ему было приятно лишь там, где никто не обращал на него внимания; затеряться в гуще жизни, показать ее мощь и непрерывность сквозь призму своих произведений, быть может, и было его основной задачей. В Каире полицейские подозрительно относились к нам, когда встречали вне туристской зоны. У нас не было никаких иных намерений, как только посещать музеи, мечети и лавочки на базаре в поисках сувениров. Однажды, когда я протянула конфетку проходящему ребенку, он, к нашему удивлению, бросился бежать. Мой простой жест был для него необычен, ему померещилась какая-то ловушка, и понадобился более сведущий человек, чтобы объяснить гуляю-



щим, которые обратили внимание на эту сцену, что мы — французы и хотели всего лишь предложить конфетку случайно встреченному ребенку.

— Вы слишком неразборчивы в знакомствах! — замечал нам наш друг, мусульманин, принадлежащий к хорошему обществу. Он ошибался. Альбер всегда вел меня с собой к тому, что казалось ему наиболее живым. Он не был, как говорят в народе, спесивым, но его молчаливость создавала натянутость, которая исчезала в моем присутствии. Наша старая прислуга, простая крестьянка, говорила вздыхая: «Я всегда настороже, жду не дождусь, что месть у меня чего-нибудь попросит». Вскоре после того она ушла от нас по семейным обстоятельствам, так ни разу и не услышав от него какого-либо пожелания. Она знала одно: мастерскую она должна была убрать так, чтобы он этого не заметил; он предпочитал пыль вторжению неловкого постороннего лица. Достаточно пустяка, чтобы нарушить постоянное общение проникновенного художника с остальным миром.

Марке очень забавляли люди, имеющие привычку быстро и безапелляционно высказывать мнение по любому поводу:

— Как они уверены и самодовольны! — удивлялся он. — И что за чванство считать себя каким-то особенным и всегда правым! Неужели они никогда не изменяли своего мнения?

Сам он жил подобно тому, как управляют судном: проверяя себя, вновь пересматривая свое суждение. Он продвигался впе-

ред как опытный капитан; на каждый данный момент — своя задача и ее решение, но никаких удобных теорий и ленивой удовлетворенности, которая предрешает все заранее и бесповоротно. Так он работал, и это делало для него невозможным преподавание.

— Когда я начинаю картину, я не знаю, как ее закончу.

Он считал, что детские рисунки имеют смысл лишь до тех пор, пока ребенок не знает, как вещи сделаны.

— Они теряют значение в тот день, когда дети узнают, что у дома бывает крыша, дверь, окна. Только преодолев это, получишь возможность продолжать.

Если в том, что создал Марке, все так полно уравновешенности и уверенности, то это ни в коем случае не является результатом преднамеренного искания, это выражение его собственной сущности, часть его «внутреннего предопределения», делавшего его человеком, на которого можно было положиться при любых обстоятельствах.

Такому, как Альбер, жилось легко: ничто внешнее не было для него решающим. Хотелось ли мне куда-нибудь поехать, случайная ли встреча увлекала нас то в Норвегию, то в Румынию, он захватывал свое снаряжение и продолжал наблюдать. Каково бы ни было зрелище, он оставался (так делают и другие, но у него это было особенно сознательно) тем же самым человеком и все с той же неподкупной честностью, с тем же живым напряжением старался как можно точнее уловить трепет жизни. В этом чередовании разъездов и пребываний в самых различных странах он рисковал разменяться, раствориться, не будь он так прочно сложен и так тесно связан с теми же упорными исканиями.

За внешней уступчивостью и добродушием у Марке скрывалось своего рода непроницаемое ядро. На него наталкивались довольно скоро, и тут уж ничего нельзя было поделывать. Он все переносил, со всеми соглашался, слушался и уступал, не заставляя себя упрашивать, но так бывало лишь по отношению к тому, что его не затрагивало и не задевало его взгляды на мир и на жизнь. Тут с его стороны не бывало ни возражений, ни капризов:

— Если вам так хочется, если вам это нравится, пожалуйста...

Он улыбался и подчинялся. Здесь или там, то или другое, сейчас или завтра — все равно! Но никто не мог заставить его согласиться с тем, что он осудил, сделать то, от чего он отказался. Он оставлял за вами свободу действий, он вас не порицал, вы действовали по своему, а не по его желанию. Он никогда не брался становиться на ваше место и решать за вас. Каждому свое; он ценил свои взгляды, вкусы и не требовал, чтобы они нравились другим. Когда наталкивались на возражение с его стороны, то оно бывало столь определенно, что не имело смысла к нему возвращаться.

Одно время, когда картины стали плохо продаваться, маршанье решили, что они вправе разрывать контракты. Тут они встретили в лице Альбера противника тем более решительного, что он отнюдь не думал о своей выгоде — просто он был крайне возмущен.

Припоминаю, как однажды мы были в маленьком бюро галереи Дрюе, куда мадам Дрюе и Атис, тогдашний директор, пригласили нас, сказав, что должны сделать нам важное сообщение. Воцарилась атмосфера какой-то необычайной торжественности, которая происходила, конечно, от замешательства; они не знали, как приступить к тому, что взяли на себя сказать после совещания с Бернхеймами, с которыми их связывал контракт Марке.

Мадам Дрюе, выпрямившись на стуле, с бледным и злым лицом, казалось, не видела ничего вокруг себя. Атис, на долю которого выпало говорить с нами, старался казаться непринужденным и вежливо, с предосторожностями, с предварительными извинениями, с явными колебаниями, бесстрастным голосом, которому он хотел бы придать побольше решительности, сооб-

шил нам положение дела и принятое ими совместное решение; они вынуждены так поступить, несмотря на всяческие сомнения, сожаления и против своей воли.

Наши собеседники глядели на меня, ожидая, что я отвечу, но я не успела возразить ни слова, как Альбер, покраснев, заявил сухим тоном, что они не могут без его согласия принимать решения по вопросам, которые касаются и его. Он считает странным, что, достаточно нажившись на перепродаже его работ, они теперь осмеливаются присвоить себе право отказываться от своих обязательств только потому, что год или два им трудно размещать картины. Он, во всяком случае, не дает своего согласия и, невзирая на их мнение, будет считать двойной договор действительным. Это было сказано так решительно, что мадам Дрюе и Атис поняли: Марке ни за что не переменит решения, и я уверена, что в глубине души они считали его правым. Им удалось убедить Бернхеймов, и договор, нарушенный было так легко, остался в силе.

Альбер был крайне возмущен. Он думал не об убытке, который ему могли нанести, но о легкости, с какой люди, считающиеся порядочными, решили нарушить свое слово. Это казалось ему совершенно неприемлемым. Мы долго шли потом по бульвару Мадлен, а лицо у него все еще пылало и он никак не мог успокоиться. Как смели они хоть минуту подумать, что он примет их точку зрения! И они стали ее бесстыдно излагать, как будто ничего нельзя им возразить! Он негодовал: «Нет, ты подумай только!» — и он продолжал возмущаться с непривычной для него горячностью.

В подобном же состоянии я его видела однажды при совершенно иных обстоятельствах. Он возвращался домой с выставки Серафины Луи¹ и, едва войдя, сказал мне:

— Тебе непременно следует ее посмотреть. Невольно думается о всех, кто выворачивает мозги, чтобы извлечь из них хоть что-нибудь, а вот она-то, несколько не изворачиваясь, и нашла.

Во время истории с контрактом мы только что купили квартиру на улице Дофины и сделали всего лишь один взнос. Нотариус, с которым мы посоветовались уже после заключения

¹ Серафина Луи (1864—1934) — французская художница-любитель, писала пейзажи и цветы в духе примитивистов.



договора, не скрыл от нас, что сделка кажется ему рискованной. Дорого и без гарантий. Мы действовали как дети. Если бы мы посоветовались с ним до того, как приняли решение, он указал бы нам лучшую квартиру, прямо на юг, на шестом этаже каменного дома; улица тихая, на левом берегу, чем мы, по-видимому, особенно дорожим. Капиталов у нас нет (он был страшно удивлен этим), и вдруг мы покупаем, не долго думая, большую квартиру, бог знает ради чего!

— Ради окон, — заметил Марке.

Ему был ясен мотив его поступка, и он ни на секунду не задумался над тем, что представленный довод, очевидный ему самому, может другому показаться странным. Нотариус так и подскочил. Он смотрел на нас, выпучив глаза; сам того не замечая, он начал играть ножом для разрезания бумаги и, видимо, искал и не находил что ответить. Он вздохнул, как бы отказавшись от мысли нас убедить (разве можно понять что-либо у таких странных клиентов?). Покачивая головой, он предпочел обратиться ко мне; он знал кое-что о моей семье, и ему, очевидно, казалось, что со мною легче сговориться. Подчеркивая каждое слово, он сказал: «Я думаю, вам лучше было бы действовать при посредничестве вашего кузена...» (человека зрелого и уравновешенного, нотариусом которого он был уже много лет). «Я привык обсуждать с ним дела, мы легко понимаем друг друга, у нас общий язык».

Этому кузену нотариус решился высказать свою мысль до конца:

— Мне кажется, что ваши родственники созданы скорее жить под мостом, чем над ним.

Однако он принялся посещать отель Друо и, когда увидел, что полотна Марке там высоко ценятся, изменил свою точку зрения: мы оказались людьми, за которых можно поручиться и которых, следовательно, можно защищать, а потому он взял нас под свое покровительство. Мы в нем очень нуждались, мы были женаты, но — это казалось ему совершенно невероятным — не заключили брачного контракта. Нашего слова ему было недостаточно, ему нужен был соответствующий документ. Он считал нас порядочными вертопрахами за то, что мы пренебрегли формальной стороной нашего союза. Что мы такие, какие есть, это он еще допускал, но что никто из окружающих не проявил здравого смысла, казалось ему совершенно непостижимым.

Альбер недолго тревожился этими обстоятельствами. Выходя от нотариуса, он меня спросил:

— Как думаешь, мы справимся с покупкой?

Я ему отвечала без колебания:

— Конечно, если платить в рассрочку.

Мы последовали советам представителя закона, приняли решение, подписали бумаги, и Альбер перестал обо всем этом думать.

Марке тщательно выполнял все заключенные им договоры, довольный тем, что они освобождают его от материальных забот, а разбогатеть он никогда не стремился. Матисс несколько раз тщательно пытался убедить его лучше защищать свои интересы: с той минуты, как у Альбера хватало средств жить как ему хотелось, он не интересовался остальным. Чтобы вести игру, надо дорожить своей ставкой. Кроме того, он не любил видеть много народу; больше всего он ценил покой, и это привело к тому, что мы были знакомы лишь с немногими коллекционерами. Я уверяла, что нам нечего их искать, что они придут сами, но он относился к моим словам недоверчиво. Он удивлялся как новичок, когда купили картину у него в мастерской. Узнав об этом (все быстро становится известным в тесном мире парижских любителей и маршанов), старик Эссель решил, что у меня блестящие способности к торговле. Альбер был простодушен, зато Эссель всегда считал картины только товаром и не представлял себе, что можно жить ими, не прибегая ко всевозможным уловкам и рекламе. Время было плохое, и, сидя

в «Салоне» за столом в ожидании редких заказов, он весь съеживался, готовый упасть в обморок. В какую адскую эпоху мы живем! Счастливые времена остались позади!

«Хорошие воспоминания должны помочь нам перенести теперешние затруднения». Однако он не верил, когда я ему это говорила в надежде, что он воспримет духом. Я улыбалась при этом, а Альбер прохаживался по выставочному залу и рассматривал развешанные на стенах картины как человек, не питающий никаких трагических опасений; поэтому Эссель решил, что у нас в руках какой-то козырь, который мы скрываем. С этого дня он стал нас уважать.

Еще в Сиди-Бу-Саиде богатый тунисец, пришедший однажды к нам в гости, спросил Марке тоном светского человека, обращающегося к равному себе (потому что у нас был автомобиль и достаточно средств, чтобы существовать, никуда не выезжая в течение нескольких месяцев):

— Вы занимаетесь живописью ради удовольствия или на это живете?

Ему и в голову не приходило, что эти два обстоятельства могут быть связаны, и, услышав скромный ответ: «Я этим живу» — он не скрыл своего удивления. Под конец, обедя наше жилище быстрым оценивающим взглядом, он сказал:

— Правда, художникам требуется очень мало, — и прибавил, почти извиняясь: — В наших семьях — сами понимаете — мы привыкли к другому, и мы бы так жить не могли.

Мы посмеялись над его словами, однако все же признали, что, по существу, он не так уж плохо рассуждает: когда есть деньги, можно тратить больше, а потом, в менее удачные времена, сократить расходы, и это не вызовет никакой драмы, если ты стремишься к определенной, хотя бы и недостигаемой цели. Горишь, отдаляешься от нее, приближаешься вновь и почти никогда не достигаешь ее. Если есть чем заполнить и оправдать жизнь, то все остальное — лишь мелочь.

Что было самым существенным для Марке? Холсты, краски, кисти, покой, окно с открытым видом, то есть возможность выразить себя. Я не преувеличиваю, думая, что в последний период его жизни мое присутствие было для него полезным. Он доверял мне, он испытывал со мной удовлетворение от жизни, которое раньше казалось ему невозможным, однако от всего, чем он пользовался и наслаждался, он мог, не задумываясь, в любое время отказаться и больше о нем не вспоминать.

До 1940 года у нас был автомобиль, и мы много им пользовались. Мы путешествовали не иначе как на машине, но, когда автомобиль остался в Серё¹, в гараже, недоступном для нас, потому что мы тогда жили в Алжире, Альбер стал ездить в битком набитых поездах, трамваях и автобусах; он помогал мне носить корзины с провизией и даже с кошками, которых мы каждую неделю неизменно перевозили из города в деревню и из деревни в город. Он ни за что не согласился бы оставить их одних на двое суток, хотя бы и с достаточным кормом: уж очень они были близки его сердцу. Верный себе, он предпочитал, чтобы стеснения и трудности приходились на его долю, чем навязывать их другим, будь то люди или даже животные, но все же, как и он, живые существа. Раньше мы часто ходили в кино. В Алжире во время войны от этого пришлось отказаться, так как нужно было заранее занимать места или стоять в очереди. Он этого даже не заметил. Он находил на что посмотреть на улице; то, что его увлекало, жило в нем самом. В заимствованиях он не нуждался.

Надо было изо дня в день жить с Марке, чтобы знать, до какой степени он поглощен тем, что он непрестанно открывает, никогда не поддаваясь усыпляющей привычке: игра света, движение, все, в чем для него выражается жизнь,— вот задача, которую он решал. Однажды вечером, идя со мной по улице, он тихонько засмеялся:

— Я сейчас недоумевал, почему у прохожего лицо до такой степени затенено, и только погода сообразил, что ведь это негр.

Сидя против меня за столом, он прищуривал то один глаз, то другой; он видел ими по-разному, глаза у него было неравномерно близоруки.

— Все меняется — краски, размеры, соотношения,— говорил он. Это его удивляло, забавляло, он пользовался этим как живописец.

В 1931 году Альбер сделал мой портрет. Я сама просила его об этом, и он письменно обязался закончить его к рождеству.

Я позировала часто, около сорока сеансов; он знал меня слишком хорошо, и это ему мешало. Едва он брался за работу, я замечала в нем такую уверенность и мощь, что мне казалось, будто передо мной другой человек. Быть может, я плохо выра-

¹ Серё — город в районе Восточных Пиренеев.

жаю свою мысль, но дело в том, что он уже не походил на себя, на того, каким бывал в повседневности; он раскрывался таким, каким был на самом деле, во всей силе находчивости и творческого напряжения; он весь отдавался тому, что делал, отчего ничто не могло его отвлечь; он становился таким, каким я его предугадывала, когда выбирала в спутники жизни. Сознавал ли он в эти минуты, кто перед ним? Он меня рассматривал по частям, усаживал, пересаживал, переделывал написанное, начинал сначала, даже сердился: «Не знаю, как это тебе удастся, у тебя все время меняется лицо». Он стремился сквозь многообразие и внешне противоречивые выражения лица угадать и воссоздать самое верное, то, что будет все так же походить на меня и спустя многие годы. Если бы нам не пришлось в то время переезжать, не знаю, расстался ли бы он наконец с этим полотно, признал ли бы его наконец законченным? Сомневаюсь! И еще больше сомневаюсь с тех пор, когда сама делаю те же попытки, только другими средствами выражения.

Портрет может занять целую жизнь. Никогда не выскажешь всего, что хотелось бы сказать. Кроме того, такие попытки только осложняют и парализуют работу. Быть может, то, чем пренебрегаешь (хоть и видишь его), скорее привело бы к существенному, а то, что сохраняешь, следовало бы отбросить? Внести порядок, очистить, вот к чему стремишься, стараясь в то же время добиться жизненного и правдивого. За какую нить ухватиться, чтобы не сбиться в сторону? По какой дороге идти? Добиваешься сосредоточенности и минутами веришь, что достиг ее, но вот повеял недобрый ветер, разгоревшийся было огонь гаснет. Осталась ли в золе искорка? Надеешься на это, но, подув на нее, оживишь ли ее или увидишь, что она навеки погасла?

Мне случается забыть о том, что произошло. Ты здесь, живой и близкий, до тебя рукой подать, или просто ты вышел; я пишу тебе, ты скоро вернешься, и все вновь обретет смысл. Мне вновь захочется ехать куда-нибудь, жить, я не буду больше отрешена от всего, погружена в какой-то иной мир, и мне не надо будет следить за тем, чтобы это не было заметно. Если бы ты знал, как мне претит заниматься вещами, которые мне не нужны: чинить ставни, приводить в порядок сад, ванную, сама не зная зачем. А мои букеты, которые попадались тебе на глаза, вокруг которых ты вертелся, потом возвращался, чтобы писать их или унести в мастерскую, где ты, не спеша, изучал их,— они



теперь навсегда стали твоими. Я чувствую, что все покинула, и я лгу самой себе, силясь продолжать призрачную жизнь и отдавая этому все свои заботы.

В 1931 году мы совершили путешествие в Испанию вдоль Средиземноморского побережья и закончили его пребыванием в Альхесирасе. Возвратившись в Париж, мы поселились на улице Дофины. Воспоминание о солнце, весне и свободе! Миндаль в цвету на сухой земле, как бы чуждой юному расцвету деревьев, селения с заново выбеленными домами, паруса, качающиеся на море, и мы вдвоем наслаждаемся этим, и никто нигде нас не ждет! Эти минуты подобны восхитительным плодам, и я спрашиваю себя, сумела ли я выжать весь содержавшийся в них сок? Люди говорят мне, чтобы утешить: «У вас прекрасные воспоминания», но ты, хорошо меня знавший, ты звал меня дикаркой!

В те лучезарные дни, когда ты писал в каком-нибудь уголке деревни, у меня была одна забота: не навлечь на тебя ватагу шумных мальчишек, которые увязывались за мной и, считая меня чужестранкой, отпускали тысячи дерзких замечаний. В Тарифе какой-то прохожий заступился за меня: «Как вам не стыдно! Француженка примет вас за мавров!» Страх перед возможностью такого недоразумения, по их мнению, весьма постыдного, рассеял ребят, но их большие блестящие глаза и смуглая кожа отнюдь не опровергали сходства с ныне исчезнувшими завоевателями.

Тарифа — самая южная точка полуострова: стоит лишь пересечь пролив — и прекрасно видны на другой стороне такие же земли, то же небо, осеняющее ту же растительность, среди которой живут люди такого же типа. Мы могли отправиться отсюда дальше, в Марокко, без всяких неожиданностей и резких перемен. Нам казалось это продолжением и объяснением того, что мы уже открыли или предчувствовали в течение последних недель.

В конце дождливого лета 1931 года, когда Марке писал в Триеле, мы благодаря переезду обрели многое забытое, в том числе кучу альбомов с набросками и рисунками. Альбер провел целые недели, разбирая ящики, набитые бумагами, которые он перелистывал, смотрел, перебирал, откладывал в сторону для последующей разборки или рвал и жег. Иногда он с веселой улыбкой запирывал листки на самое дно ящика: — Я их берегу; тогда я был молод, и для меня они представляют интерес.

Перед ним вновь оживали минувшие времена: кафе «Прокон», «Пти Казино», «Академия Рансона». Он вдруг начинал рассказывать о товарищах, которых потерял из виду, припоминал истории, связывавшие их, повторял мимоходом какое-нибудь словечко, в котором сказывались свойственные им черты. Что с ними теперь? Он о них ничего не знает, жизнь их разлучила, всего не сохранишь. Потом он принялся за картины. Большинство их было сложено в ящик, на многих были трещины, а у некоторых были даже вырваны клоки. Альбер удивлялся, что забыл о них; как все это было давно! Он рассматривал их одну за другой, одни убирал, другие засовывал в камин! — «Превосходно для растопки!» Из некоторых он вырезал деталь, желая сохранить один какой-нибудь кусок; он не понял бы меня, если бы я попыталась сохранить то, чему он так легко выносил приговор. Он, всегда обращавшийся к моему мнению и совету во множестве обстоятельств, в своей области чувствовал себя единственным судьей, и ему и в голову не приходило, что может быть по-другому. Когда это касалось его работы, сам он лучше, чем кто-либо, мог судить о ее достоинствах. Однажды он расколол пополам два деревянных панно. Подбирая куски, которые, по его мнению, стоило сохранить, я обратила его внимание на то, что он оставил обе половинки одного из них, а он мне спокойно ответил: — Это попросту доказывает, что они не хороши как единое целое; посмотри, вместе они никуда не годятся!

Теперь оба куса вставлены в рамы, каждый отдельно: я не считала себя вправе их объединить.

Альбер недолго радовался квартире, выбранной им на том самом месте, где некогда стояла невзрачная гостиница, в которой он работал по выходе из Школы изящных искусств. Война отняла у нас эту квартиру на пять лет, и он вернулся в нее на такой малый срок! Как раз на столько, чтобы ощутить вновь почву под ногами и почувствовать себя на родной почве. Мы думали, что найдем в целости некоторое. В какой спешке я срывала, вернувшись, маскировку с кафельных плиток в ванной, расписанных и расположенных им самим! Они оказались целы, мы на это не смели и надеяться. Прежде чем покинуть Париж, в июне 1940 года, мы их замаскировали, — наклеили сверху плотную бумагу, потом коленкор, и Альбер расписал его чернилами для авторучек, чтобы «оформить» стену, так как ванная стала чересчур белой и это смущало его. От этих торопливых набросков почти ничего не осталось, чернила не удержались, но главное было достигнуто. Немцы, остервенело разыскивавшие запрятанные картины, о ванной не подумали. Тут у них оказался какой-то изъян, зато в остальном их осведомленность прямо-таки поражала. Я к этому еще вернусь.

Эта ванная комната — произведение почти случайное. Устраиваясь в доме, мы стремились к тому, чтобы все было приятно и своеобразно. Нам всё предлагали мрамор, металл и позолоту. Каталонский художник Крейксамс, с которым мы встретились в Испании, рассказал нам о своем соотечественнике Артигасе¹, — тот уже работал с Дюфи². Он жил в Шарантоне. При нашем первом свидании Артигас стал отнекиваться:

— Я охотно сделаю изразцы для кого угодно, но только не для вас, Марке! Вы можете их сделать сами.

— Я совсем не знаком с керамикой.

— Если бы вы были парикмахером, я сказал бы, что придется поучиться несколько месяцев, но вам достаточно получасового объяснения и двух-трех проб, и у вас все превосходно получится.

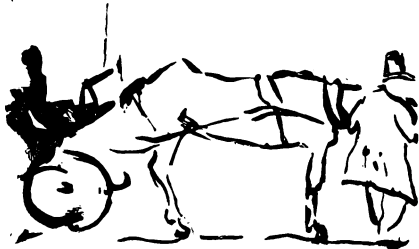
¹ Жозеф Артигас — каталонец по происхождению; принадлежал к группе «Независимых», выставлялся в «Осеннем Салоне» 1928 г.

² Рауль Дюфи (1878—1953) — художник, входил в группу «Диких», писал пейзажи, декоративные по цвету и композиции.

Предложение соблазнило Альбера. Артигас ему нравился, по он не знал, за какую медлительную и трудоемкую работу он берется. Работа затянулась на целый год, и Альбер несколько раз готов был все бросить. Но я так на него рассчитывала, что он не решался меня огорчить, и вот, несмотря на перерывы, происходившие оттого, что то один, то другой уезжал, несмотря на неудачные обжиги, после долгих обсуждений подружившиеся Марке и Артигас уверовали в успех и кончили тем, что распилили и обожгли плитки. Мы составляли план с широким расчетом, да каждый добавил потом по несколько дюжин плиток по своему вкусу; и все же, будучи новичками, мы упустили из виду неправильную форму угловых плиток, а также неизбежный бой, и по окончании работы осталась всего лишь одна плитка и три-четыре лепных орнамента.

Наш подрядчик, человек важный и положительный, не был в восторге от работы. Он взглянул на нее с видом превосходства и не скрыл от нас, что «сейчас модны богатые материалы» — те самые мраморы и позолота, которые мы отвергли. Зато рабочий, укладывавший плитки, делал это с явным удовольствием. Он сразу же заметил, что плитки фона, изготовленные Артигасом, покрыты такой поливой, что свет играет на ней, и он приложил все усилия, чтобы подобрать одну к другой. Он даже позвал свою дочь, чтобы показать ей нашу ванную, — уже тридцать лет, как он их облицовывает, и ни разу не видал подобной! Он сказал мне доверительно:

— Теперь пристрастились к гладким фонам и больше уже не пользуются станиферной (то есть оловянной) поливой, вот в изразцах и нет жизни.

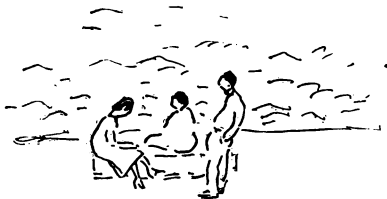


Этот рабочий отлично понимал художников. На стенах ванной были запечатлены наши воспоминания о многочисленных путешествиях от Африки до Норвегии, все места, где Альбер работал в различные времена года, исключая Париж, находящийся под нашими окнами. Впоследствии один любитель попросил Марке повторить для него подобную работу, но Альбер так воспротивился, что, к его удовольствию, разговора об этом больше не было. Марке предпочитал живопись, там он яснее отдавал себе отчет, к чему он стремится, а ванная была для него лишь проходящим развлечением.

Мне думается, что в это время Марке переживал самые легкие годы своей жизни: он был здоров и не знал никаких личных забот. Все материальные хлопоты он возложил на меня, раз и навсегда дав мне все необходимые полномочия. Целиком погруженный в работу, сколько раз он выходил из дому без денег! Он спохватывался, лишь когда ему нужно было купить краски, холст или кисти. Ему и в голову не приходило, что поставщики, которым он всегда оставался верен, охотно предоставят ему кредит. После месяцев напряженной, усидчивой работы у него иногда появлялось желание ничего не делать. Он не скучал при этом. Он смотрел, накоплял наблюдения или отправлялся посмотреть, что делают другие. Он принимался больше читать, иногда по-английски, потому что до конца сохранил любознательность и потребность учиться.

Летом 1934 года, соблазненные афишей, мы отправились в СССР. Отплыв из Дюнкирхена на советском судне, мы причалили в Ленинграде и проехали по России с целым караваном французов самых различных убеждений. Мы останавливались в Москве, Харькове, Ростове, Тифлисе, а в Батуме сели на итальянский пароход, который прошел вдоль берегов Средиземного моря и наконец доставил нас в Марсель. Предвидя, что он все время будет в пути, Марке захватил лишь альбом для набросков и коробочку акварели. Ему было любопытно видеть совсем иной образ жизни; в этой стране, где никто не говорит о деньгах, он сразу почувствовал себя хорошо, тем более что всюду встречал теплое, дружеское отношение. Молодые художники теснились вокруг него, хотели познакомиться. На обращенные к нему речи Марке отвечал улыбками. При всех обстоятельствах он постоянно старался выдвинуть вперед меня:

— Это моя жена говорит и пишет, а я умею только писать картины.



Ему случалось разочаровывать кое-кого из своих страстных собеседников, потому что его политические взгляды были недостаточно четки. Он никогда не голосовал. Он твердо оставался на некоторых позициях. Тяга к деньгам и к господству была ему всегда чужда. Он не понимал в общем довольно распространённого стремления иметь все больше и больше и признавал, что обладать стоит лишь предметами полезными или приятными. В сущности, он оставался при убеждении, что человек, родившийся богатым, скорее проиграл, чем выиграл, потому что он всегда оказывается перед ложными проблемами. Альбер с симпатией и надеждой наблюдал стремление целой страны к новому распорядку и новому образу жизни. Он находил, что это будет полезно для всего мира. Конечно, не сегодня или завтра и без понукания. Важно, что дорога открыта, и волей-неволей, с остановками, топтанием на месте, возвращением вспять, люди по ней все-таки пойдут.

Вернувшись из путешествия, на настойчивые и пристрастные вопросы Марке отвечал, что за три недели он не мог всего увидеть, обо всем судить и все понять, но что он охотно вернется в СССР для более длительного и, следовательно, более поучительного пребывания. Художники-любители из рабочих предложили Марке трогательный договор: годичное пребывание нас обоих на их средства в любом городе и гостинице по нашему выбору с оплатой картинами. Альбер тотчас же подумал о Ленинграде из-за Невы и Эрмитажа, на который он хотел вдоволь насмотреться еще раз, а потом о Москве, ввиду ее напряженной жизни. У него было лишь одно опасение: как бы его не попросили преподавать. Он чувствовал себя к этому совершенно неспособным.

— Но вы позволите нам смотреть, как вы пишете?

Он мог ответить только:

— Конечно,— но ответил вяло, заранее чувствуя неловкость.

Ему казалось, что невозможно объяснить все так, как хотели его восторженные хозяева, и их слишком логичные рассуждения смущали его. Искусство — особая область; он чувствовал его так остро, что слова его смущали — они, по его мнению, лишь обедняют и искажают то, что люди хотят разъяснить. Сколько раз я слышала, как он говорил, прочитав какую-нибудь статью:

— Это не так-то просто. Они подходят к вопросу извне и ничего в нем не понимают.

Понадобились потрясения войны и те ужасы, которые она повлекла за собой, чтобы он определил свое отношение к внешнему миру. Он часто считал, что честнее отвечать: «не знаю», и предпочитал говорить «нет», нежели «да».

«Нет» — это только преграда, остановка, своего рода прикрытие, тогда как утверждение — это уже движение, которое может повлечь дальше и в сторону от того, что первоначально хотелось. Марке до такой степени любил сохранять контроль над своими действиями, что опасался развязать силы, о которых и не подозреваешь; эти силы могут довести до крайностей, совершенно непредвиденных и уже неприемлемых.

Живопись была смыслом его жизни, его убежищем, его языком, единственным способом выражения, который он считал своим, и единственным ответом, который он мог дать без лукавства. В ней и нужно его искать. Я это знаю, я только потому и живу еще, что ощущаю в его картинах его присутствие; оно мне необходимо и в его излучении я черпаю ту энергию, которая у меня еще сохранилась.

VII

Однажды араб, гадавший на песке, который он рассыпал перед собой, сидя на корточках, сказал мне: «Ты смеешься, и у тебя такие глаза, как будто все вокруг — твои друзья». Он ничего больше не прибавил, а только покачал головой, глядя на меня. Теперь я вспоминаю, что я долго жила так, всюду — дома, в гостинице, в Венеции, в Стокгольме, в пустыне, на деревенском постоялом дворе, в портовом кабачке, среди самых различных людей. Тебе тоже было хорошо, и как легко было нам обоим вечером чувствовать себя объединенными тем, что нас интересовало или развлекало в тот день. Как нам легко было принять участие в чем угодно! В то время я не предвидела, что дойду до того состояния, в каком нахожусь теперь! Однако надо продолжать.

Я снова вспоминаю нас на дорогах, например в снежном туннеле, когда мы проезжали через Симплон. Я хохотала, потому что ты непрерывно бранился. Ты не ожидал, что придется вести машину в такой теснине, и мне пришлось тебя уверять, хотя я сама этого не знала (мы выбрали дорогу случайно), что мы скоро отсюда выберемся и ты освободишься от тоски и страха, которые овладевали тобой, как только тебе не доставало открытого горизонта.

Потом мы оказались на границе, где по наивности предъявили паспорта, которые нам служили для путешествия в СССР. Мы и нарочно не придумали бы ничего лучшего. Ни одно официальное лицо не решилось нас посетить, и во время нашего четырехмесячного пребывания в Венеции мы не получили ни одного скучного приглашения, от которого пришлось бы уклоняться.

Альбер быстро привык ходить без шляпы, чтобы не быть вынужденным приветствовать эмблему, к которой он не питал симпатии. Однажды, выбирая открытки на витрине лавки, он навлек на себя надменное замечание: он не успел обернуться в тот момент, когда мимо с песнями проходила ватага мальчишек со знаменем, на которое он предпочитал не глядеть. Мы не искали новых знакомств, мы бродили по многочисленным запутанным улочкам, между каналами с волнующей воображение водой, через которые переброшены двускатные мосты. Эти улочки неизвестны тем туристам, которые принимают на веру слова гидов, что Венеция раскрывается лишь с гондолы. Тут

видишь народ насмешливый и полуголодный, довольный своим небом, влюбленный в свой город, гордящийся своим прошлым, которое он плохо знает, но величественные останки которого он умеет вам показать, чтобы заработать на жизнь, или потому, что ему это нравится, или потому, что вы ему приглянулись, или просто для развлечения.

— Вот дворец графа Вольпи!

Свежевыкрашенные, сверкающие медью гондолы ожидают у выложенных причалов, а у гондольеров красивые широкие пояса и яркие куртки.

— Скажите, граф Вольпи очень богат?

Гондольер свистнул от восторга:

— Богат ли?! Он долго был министром финансов!

И это было сказано, как нечто само собой разумеющееся, без проники и без лукавого подмигивания.

Раньше Альбер думал, что у него не появится никакого желания работать в городе, красота которого воспроизводилась столькими художниками и с таких давних пор. Однако Марке увидел этот город, изображенный бесконечное число раз и совершенно по-разному, таким, как если бы он вышел из воды вот только что, у него на глазах. Первые дни у Дернizzi пропали тягостно, потому что страна уже повлекла Альбера к себе, а то, что его окружало, мешало ему слиться с ней. Он чувствовал, что увидит ее лучше со стороны, без всех этих людей, туристов и слуг, которые его стесняли; богатые были слишком самоуверенны, а остальные — слишком угодливы. Несмотря на эту притягательность, еще смутную, он не предполагал остаться в Венеции больше двух-трех недель; однако в скромной гостинице против причала Лидо он принялся писать — и зачастую с самой зари — с той особой страстностью, которая всегда бодрила меня, и мы прожили там все лето. Я — немного меньше, потому что на некоторое время уезжала от тебя. Это была наша первая и единственная разлука. Я покинула тебя почти на месяц — срок достаточный, чтобы осознать, что мы не можем больше жить друг без друга. Что же мне сказать теперь, припоминая то время, когда ты писал мне: «Я учусь трудной доле вдовца и безутешного». А в другом письме — оно блуждало, и я получила его лишь накануне отъезда: «Знаю, что мне остается жить в одиночестве всего несколько дней, но они последние, и потому — самые долгие. В тебе силен дух изобретательства, и ты можешь придумать, как их сократить».

Я уезжала к своим родственникам в деревню на Лазурном берегу, но теперь сама не знаю, почему я тогда поехала, настолько я уверена, что не надо было уезжать. Я чувствовала себя в то время до такой степени богатой, что была склонна к мотовству, тогда как в настоящий момент, в моем теперешнем положении, мне кажется, будто меня обсчитали на эти три исчезнувшие, потерянные недели. Но не надо задерживаться на этих мыслях, а то я не в состоянии буду продолжать.

На чем я остановилась? На нашем пребывании в Венеции. К концу лета Альбер пресытился Дворцом дожей, св. Марком, изобилием их украшений, которые вначале возмущали его, а также неизменно хорошей погодой. Он мечтал об облаках, которые оживили бы небо, о дожде, об успокоительной тонкости серых тонов, о маяющих туманах. Кроме того, ему опять захотелось во Францию. По тогдашней привычке мы уже исколесили в автомобиле всю Италию, делая крюк то там, то сям, чтобы посмотреть то, что нас интересовало: городок, монастырь, церковь или музей. Зато мы миновали Флоренцию — Марке не сохранил от приезда туда несколько лет назад обычного для него восторженного воспоминания. Едва сойдя с поезда, он встретил там слишком много эстетов — хоть и самых различных национальностей, но в основном похожих друг на друга и одинаково нарочитых; кроме того, ему не нравился черный мрамор с белым, из которых сделана большая часть тамошних памятников. Он всегда предпочитал города, живущие подлинной современной жизнью, — городам искусства, застывшим в прошлом; так, он отдавал предпочтение Неаполю с развешанным на улицах бельем, а не Флоренции, увенчанной кипарисами. Вот почему он с недоверием прибыл и в Венецию. Но он нашел в ней такую изменчивую воду, столько свующих взад и вперед барок и лодок и особый, почти неправдоподобный праздник света, что был покорен, несмотря на внутреннее сопротивление. Чтобы мы скорее привыкли к городу, хозяйка нашей гостиницы, широко открытой на лагуну и на город, приняла нас как подлинная венецианка, — столь горячо, что, несмотря на войну, мы оставались друзьями. Были там и голуби, которые являлись каждое утро к нам в комнату, чтобы разделить с нами утренний завтрак. Они чувствовали себя здесь как дома, прогуливались, переваливались с лапки на лапку в поисках корма, следили друг за другом: толстый, важный «Муссолини» господствовал над всеми; невзрачный, маленький, тщедушный «Виктор-Эмма-



нуил» в сторонке поджидал крошек, которые останутся на его долю. Мы скоро узнали, что эти прозвища, данные нами втихомолку, известны и за пределами нашей комнаты. За нами следили больше, чем мы думали...

В часы досуга мы ходили в общем людском потоке по улицам. В некоторые часы он уносил нас в одном направлении, в другие — в обратном, это был словно морской прилив; мы кружили, как все остальные люди, мы слушали их рассказы и шутки. Никто не спрашивал о наших убеждениях, но все их знали: не делая этого нарочито, мы выражали их своим образом жизни и поступками. По возвращении с виллы Мазер¹ мы не скрыли своего возмущения тем, что она передана кому-то в личное пользование. Деньги и власть не казались нам достаточным основанием для того, чтобы устраивать там электричество и центральное отопление, не думая о том, что от этого могут пострадать фрески Веронезе. Альбер считал, что некоторые вещи нельзя отдавать в распоряжение одного только человека, и он говорил об этом спокойно, без возбуждения, как о само собой разумеющемся.

¹ Вилла Мазер построена знаменитым итальянским архитектором Андреа Палладио (1508—1580) с росписями Паоло Веронезе (1528—1588).

Мы были в Венеции в самый разгар войны с Эфиопией. Гостиница «Лондон», находящаяся на набережной Скъявони, превратилась в «Аддис-Абеба — бывший Лондон», с таким расчетом, чтобы во время визита в порт английских кораблей называться по-старому, ибо тогда надеялись на уступки английского правительства по отношению к Италии. Но старое название опять исчезло на другой же день по отбытии иностранцев: любовь не произвела должного эффекта. Такие мелкие ухищрения забавляли Марке; люди всегда казались ему особенно смешными, когда важничали. В том или ином штришке, пусть мимолетном или нелепом, который он лукаво фиксировал в своих набросках, отражалась жизнь, конечно, не восхитительная, но зато характерная. Это была повседневная жизнь существа не лучше и не хуже других. Что же это — жестокость художника? Об этом много говорили. Но посмотрите внимательно: это, скорее, сочувствие и даже молчаливое соучастие. Марке никогда не забирался на пьедестал, не пользовался подзорной трубой, а если и смотрел немного свысока, то не потому, что хотел обособиться, но чтобы лучше разглядеть то, что его интересует; он всегда считал и себя и то, что наблюдал, лишь частицами единого целого и никогда об этом не забывал. Он никогда не помышлял о каком-то особом положении, никогда ему и в голову не приходило судить и осуждать.

В мое отсутствие Альбера посетил незнакомец, которого к нему направил кто-то из парижских друзей. Альбер был удивлен:

— К чему он появился? Ни ему нечего было сказать мне, ни мне ему... Бедняга, вероятно, решил, что если я в Венеции, так он не может пожить здесь, не попытавшись меня увидеть... Должно быть, его уверили, что я — одна из достопримечательностей города, и я почувствовал, что он весьма разочаровался... Я был в разгаре работы, я даже не слушал, о чем он говорит, мне казалось, что из-за него я по-дурачки теряю время... Как будто я нуждаюсь в развлечениях и новых знакомствах.

Если застать художника в момент, когда он целиком отдался работе, то он иной раз с трудом возвращается в реальную жизнь, которую ему с собой приносят. Я вспоминаю, как мы однажды пришли к Матиссу. В одно прекрасное утро, высадившись в Марселе, на обратном пути из Алжира, Альбер решил отправиться в Ниццу и навестить Матисса без предупреждения. Он позвонил, и Матисс, узнав о нашем приезде, принял нас



с видом совы, которую грубо вытащили из ее потемок. Альбер дружелюбно спросил:

— Ты сейчас работаешь?

Матисс показал рисунок, набросок на холсте, но говорил мало. Вечером в гостинице Альбер жаловался: «Ну вот! Если бы я знал, так не сделал бы крюк в двести километров, чтобы его повидать. А я-то думал доставить ему удовольствие!» Но на другой день Матисс, успев прийти в себя, мило извинялся: «Что на меня нашло вчера говорить тебе только об одном холсте и об одном рисунке? Я непрестанно работаю, у меня есть гораздо больше, что тебе показать. Приходи в мастерскую». Потом он повез нас в своем автомобиле вместе позавтракать и прогуляться. Видимо, ему было приятно нас видеть, и он шумно выражал свою радость. Альбер уже не жалел, что проделал двести километров, чтобы навестить его, однако никогда больше не поддавался подобному порыву.

Как легко было тебя уязвить! Ты остерегался обижаться на кого бы то ни было, но ты замыкался в самом себе, скрывался в свой мир, берясь за привычные кисти и карандаши. Сколько раз я говорила, что их тебе достаточно для утешения в самом большом горе! Но оставим это! Лишь бы я была всегда с тобой, и пусть бы не было ни одного дня, когда бы я не услышала твоего призыва! Но зачем возвращаться к истоку нашей жизни, чтобы отыскивать в нем то, от чего ты мог страдать? Все свершилось, и я ничего не могу изменить. Я никак не могу признать то непоправимое, что овладело мной; чтобы я могла продолжать существование, мне нужно оставаться верной своему долгу, а он состоял в терпеливом укреплении нашего союза. Он не расторгнут, но по какому бы пути я ни шла, он неизменно приводит меня вновь к преграде, которую я упорно стараюсь обойти. Ты один можешь мне помочь, ты, твои произведения, в служении которым я осталась. Я вовсе не приношу тебе жертву, нет, это ты протягиваешь мне единственный спасительный багор, за который я могу ухватиться. Так, по-своему, торжествую я над смертью, которая нас разделяет. Ты, знающий меня, принявший меня такой, какая я есть, ты знаешь,

что я сдерживаюсь, чтобы только не закричать, что это неправда! Утешся! «Обманщица» продолжает улыбаться и разговаривать о том, что ее ничуть не интересует.

Я увлеклась. Как только я начинаю писать, мне кажется, что я обращаюсь к тебе, тогда как мне нужно создать твой портрет и отметить, до какой степени, насколько не стараясь, ты оставался одним и тем же человеком, будь то в Венеции или в Стокгольме. Не в глазах жителей этих различных стран: в то время как итальянцы видели тебя благоразумным и молчаливым до таинственности, шведы при встрече на улице всегда как будто ожидали от нас какой-нибудь эксцентричности. Друзья старались объяснить нам явное удивление прохожих:

— Как у всех французов, у вас такой вид, будто на улице вы у себя дома, а это не в наших привычках.

Необычайным казалось им то, что мы улыбались, обменивались замечаниями, останавливались, чтобы что-нибудь разглядеть, то замедляли, то ускоряли шаг. У нас не было вида людей, идущих в определенное место. Мы могли внезапно перейти на другую сторону или пойти в обратном направлении. Альбер уверял, что шведы принимают нас за шутов: «Мы им кажемся невероятно смешными». Такой же интерес Марке возбуждал в Лондоне в 1907 году, когда был там в компании Фриеза и Камуэна: «Если бы мы вытащили из кармана коврик и начали кувыркаться на тротуаре, то это ничуть не удивило бы англичан».

Нужно признаться, что Камуэн носил костюм из красного бархата, несколько яркого, а Альбер — непривычный котелок, который он только что купил, так как во время переезда потерял шляпу, и они составляли весьма примечательное трио: они были молоды и счастливы тем, что могут позволить себе такое путешествие. Это, по-видимому, бросалось в глаза.

Но когда мы поселились в Стокгольме — это было уже не первое наше путешествие, и ничто в нашей одежде не привлекало внимания. Все же мы, помимо желания, выделялись среди других, много шутили, интересовались на первый взгляд всякими пустяками и проводили время в возмутительном бездельи. После обычной работы мы гуляли по городу, но отнюдь не гонялись за развлечениями.

Никогда Альбера так много не фотографировали, не интервьюировали, как в Швеции, и впервые это его не стесняло: плохо понимая французский язык, журналисты не просили у

него больших речей. Они по-своему толковали несколько слов, которые им удавалось у него вырвать, и не требовалось особых усилий, чтобы обе стороны были удовлетворены. Дело заключалось не в точных вопросах и определенных ответах, но в создании некоего впечатления. Верного или ошибочного? Не важно, лишь бы оно было личным. Молодая журналистка, чью статью нам перевели, доказала нам, до чего забавно поняла она данные мною дополнительные указания. Альбер нашел, что так получилось лучше. Сохранил ли он эту газету? Не знаю. Он редко сберегал посвященные ему статьи и заметки. У него не было к этому определенного отношения, он вполне мог сложить кучу бумаги в шкаф, который потом больше не открывал, а то и вовсе все выбросить: «Трудно подойти к нему».

Он считал, что это удел каждого. Скажешь одно, а собеседник поймет по-своему, но, так или иначе, разговор продолжается. Не из чего делать драму: это в порядке человеческого поведения.

Теперь, когда я отдана обычному течению вещей, я понимаю, что ты был прав, и все же я — как рыба, вытащенная из воды.

Зимой 1938 года мы провели больше двух месяцев в Стокгольме после короткого пребывания в Голландии, которое несколько спутало наши карты. Нам никак не удавалось там с кем-нибудь сблизиться. В этой стране мы впервые почувствовали себя как у телефона, когда не можешь вызвать нужный номер: никто не отвечал, — и это происходило вовсе не из-за языка: многие голландцы хорошо говорят по-французски, но, казалось, у них нет к нам ни малейшего интереса, который содействовал бы сближению, и мы их лишь тревожим или возмущаем. Очевидно, Марке не соответствовал их представлению о художниках. Повсюду, в самых различных странах — в Испании, в Италии, в России, в Норвегии, в Египте — мы встречали людей, готовых подсесть к нам, похлопать по плечу, пожать руку, чтобы выразить свое расположение, а здесь мы оставались чужими, словно находились за стеклянной стеной. Между тем сами мы были такими же, какими были и в других странах, такими же любознательными и непринужденными, и никак не могли понять, в чем дело. Марке пришел к заключению: «Я примусь за работу, освещение мне нравится, гавани оживлены, но постараюсь ни с кем не видаться». В Стокгольме во время обеда Марке доверительно сообщил хозяйке дома, справа от которой он сидел: «Здесь не то, что в Голландии!»



Она рассмеялась — она была голландка. Альбер, чтобы исправить промах, стал говорить, что мы, по-видимому, наталкивались или на особых людей, или попадали в неудачный момент.

— Нет, нет, мои соотечественники действительно предпочитают художникам профессоров, лекторов или хранителей музеев. Они не знают, к какой категории людей следует отнести художников, а так как они во всем любят порядок, то это их смущает.

Она была музыкантша, и вот в своей собственной стране не раз чувствовала себя лишней во время какого-нибудь приема:

— Люди любезные недоумевают, как со мной быть: обращаться ли как с пианисткой, играющей за вознаграждение, или как с гостьей. Они успокаиваются, когда видят, что я уезжаю.

Насколько им становится легче, когда они имеют дело уже не с самим художником, а только с его произведениями! Лучшие музеи мира открыты для их хранения, их хорошо освещают, о них ревностно заботятся. Мертвый спокойнее живого, с ним можно делать что угодно, можно не бояться, что он от

вас ускользнет. Дракон повергнут, то, что от него осталось, прикреплено к стенам, занесено в каталог, и перед искусно освещенными, отлакированными и обрамленными Ван-Гогами люди начинают представлять себе, как человек, их создавший, устремляется в поисках не отдыха, но возможности дышать и существовать, как, не встречая ни помощи, ни любви, он ищет хотя бы безразличия, которое даст ему некоторую свободу действий. Если нужно быть отчасти профессором, чтобы понравиться в Голландии, то Марке не мог там преуспеть. Это единственная страна, где мы не почувствовали радушия. Возможно, что три недели — слишком малый срок для ритма голландцев, для того, чтобы они дали нам место рядом с собой? Без сомнения, следовало бы подготовить наше пребывание, объяснить, зачем мы туда едем, привлечь внимание, принять важный вид, — это страна не для импровизаций! Если бы мы могли туда вновь поехать, как намеревался Альбер, мы в конце концов поняли бы, как возникла та преграда, которая держала нас в стороне.

Мы прожили в Стокгольме несколько недель в гостинице напротив немецкой дипломатической миссии, которую Альбер заметил, растворив окно, — здание было весело расцвечено флагами. Это был день «аншлюсса». Сначала Альбер не поверил, ему казалось невозможным, чтобы такой захват был допущен без малейшего протеста, и он, обычно столь осмотрительный, твердил: «Вот увидишь, это ложное известие!»

Увы, оно было верным! Альбер испытывал какое-то смущение, похожее на стыд. Нас утешил хозяин нашей гостиницы: он поднял у себя на крыше французский флаг и на вопрос нашего знакомого о причине такого поступка ответил:

— Напротив они вывесили флаг потому, что гордятся своим поступком, и прекрасно! А у меня остановился французский художник, я поднял флаг его страны — каждому своя честь!

До тех пор хозяин, казалось, обращал на нас мало внимания и лишь раскланивался с нами.

С этого момента атмосфера становилась все тяжелее. После Мюнхена она стала сгущаться с каждым месяцем, и когда я предложила отправиться на лето 1939 года в Порккеролль, Альбер высказал опасение, что мы там не пробудем до осени. Так и оказалось, но он там работал с особым увлечением. Остров был спокоен, наш прекрасный дом стоял у самой воды, и мы вели жизнь очень размеренную; грозовые тучи задержались на горизонте. За новостями мы ходили в кафе в порту, где в опре-

деленные часы собирались вокруг радио все отдыхающие, торговцы, рыбаки; всех объединял общий страх, люди знакомились и делились впечатлениями или тревогами. Мой брат, приехавший к нам с семьей на лето, первым нас покинул: его призвали в армию. Мы проводили невестку с детьми в Марсель, откуда они отплыли в Алжир. Мы уже не могли оставаться в стороне, в этом убежище света и мира. Хотелось вернуться домой, где нам уже нечего будет делать, но где мы почувствуем себя на своем месте, в своей среде, крепко связанными с тем, что влекло нас в общий круговорот. Итак, мы направились в Париж и вскоре обосновались в его окрестностях, в Ла Фретт, где у нас был дом на берегу реки, сданный нам на лето Денуайе¹. Он был достаточно просторен, и мы могли жить в нем все вместе.

Быть может, именно в этом скромном доме в Ла Фретт Альбер чувствовал себя особенно по-домашнему. У нас не было там телефона. Его мастерская, хорошо изолированная на чердаке, висилась над Сеной, его любимой рекой, а прислуга уходила, как только заканчивала работу. Нас навещали друзья. У меня не было никаких забот вне дома, ничто меня не отвлекало, Альбер чувствовал себя хорошо, как в убежище. Денуайе работал в своем утолке мастерской, они не мешали один другому; в вечерние досуги мы занимались изготовлением игр для солдат, томившихся на линии Мажино. Мы не пропустили ни одной передачи известий. Мы жили в ожидании событий и разъяснения их. Мюнхен, «аншлюсс» и, наконец, война! Она пришла, мы ничего не могли поделать и только чувствовали, что погружаемся в пучину нелепостей.

Вернувшись на зиму в Париж, Альбер продолжал работать: при всех обстоятельствах и повсюду он был создан для живописи. Дни тянулись, положение было довольно неясное, и немало сообщалось всякой лжи на столбах газет и в радиопередачах. Мы старались сохранить неизменным наш образ жизни, поэтому Альбер согласился устроить выставку в мае 1940 года. В последний день из-за воздушной тревоги нам пришлось бросить перед галереей наш автомобиль, нагруженный картинами. Враг приближался. Мы не знали, что делать. Уезжать? Остаться? Мы чувствовали, что не можем быть полезны в городе,

¹ Франсуа Денуайе (род. 1894) — живописец. Экспонировался в «Салоне Независимых» (1921—1922), в «Осеннем Салоне» (1925) и др.

которому предстоит защищаться. Нам и в голову не приходило, что он может быть оставлен и что нам предстоит его покинуть больше чем на два-три месяца. В конце концов мы отправились с четырьмя чемоданами и с несколькими картинами: это было твоё собрание и ещё несколько твоих картин; это были свидетели, спутники, которые нам очень помогали переносить невзгоды. По большим и малым дорогам вся Франция устремилась к югу. С трудом можно было найти место, где остановиться: бельгийцы, северяне, люди с востока опережали нас. Мы ехали все дальше, машина мчалась, у нас было достаточно талонёв на горючее, и наши друзья, устроившиеся в Серё, усиленно звали нас приехать к ним. Почему бы не принять приглашение? Мы нуждались в сочувствии, мы ощущали себя словно потерянными в сумятице, смысл которой не вполне понимали. Керамист Артигас, совместно с Марке создавший нашу ванную, предлагал нам убежище; мы были уверены, что у нас с ним общий язык и что мы хорошо проживём вместе. Итак, мы устроились у него в надежде вернуться осенью в Париж, но события надвигались стремительно; ходили самые противоречивые слухи, и каждый раз, когда Поль Рейно выступал по радио, катастрофа пирилась. Наконец, как-то в полдень, передали послание Петена. Мы узнали о нем от прохожих, но Альбер, торопясь домой, ещё надеялся, что они плохо расслышали или не так поняли. Вскоре мы с хозяйками, теснясь возле радио, услышали дрожащий голос маршала и фразы дешевой прописной морали. Мы не смели взглянуть друг на друга. Я держала Альбера за руку, Артигас теребил ухо, его жена кусала губы, а у меня было безумное желание бежать куда глаза глядят, чтобы скрыть свое негодование и стыд. Альбер и в тот день был сдержан, как всегда, но его взгляда было достаточно: и на этот раз мы были вместе, в полном единомыслии. Это единственное, что служило нам поддержкой в тот час. Тебя называют бесчувственным, но я видела, как ты был бледен и расстроен в тот день, когда услышал по радио — никогда мы его так много не слушали, — что французское правительство выдает рейху немцев, которые скрываются у нас. Ты обернулся ко мне, и я все еще слышу, как ты произнес: «Какой позор!» Даже в этих обстоятельствах, когда все разворачивалось и решалось вдали от тебя, ты чувствовал единение и связь со всеми. Как и в других случаях, ты не думал отстраняться, и после этого ты сказал: «Теперь я знаю, чему надо говорить «нет!»

Позднее, в Алжире, с каким волнением, по несколько раз в день, ты слушал передачи в надежде узнать что-нибудь, что позволило бы тебе легче вздохнуть. Ты редко высказывал свое мнение, но тебе было не по себе, и было ясно, чего ты так напряженно ожидаешь.

Все лето мы колебались, не зная, как поступить, и не имея никакого желания возвращаться в Париж; в конце концов мы решили отправиться в Алжир и ожидать там конца войны, не предвидя еще, что останемся там на целых пять лет. Мы довольны были, что уезжаем: мы думали, что отъезд поможет нам выйти из своего рода оцепенения, в которое мы погружены. Мы отправлялись в страну, которую знали, в мою страну, там мы будем радушно приняты, окружены близкими людьми. Альбер там уже много работал раньше и, вернувшись к старым привычкам, скоро вновь почувствует себя твердо на ногах. Наш отъезд был как бы бегством к большей свободе.

Поражение не так дорого стоило бы Марке, человеку не воинственному, если бы оно проходило по-другому. Он не считал позорным проиграть битву или войну. Страна — к счастью для нее — на протяжении своей истории не всегда проигрывает, но грязь, в которой тогда вывалились и которой вдоволь наглопались, и все эти увертки радио и газет, показное покаяние — дрожащий голос, выставленная напоказ неуместная и фальшивая чувствительность — не могли вызвать у Альбера, любившего все подлинное, ничего другого, кроме отвращения.

Там, на солнце, он станет работать, воспрянет духом. Ведь в один прекрасный день изменятся же, наконец, обстоятельства!

VIII

Никогда еще мы не жили в такой тесноте, как в Алжире осенью 1940 года и в начале 1941-го. Но ее возмещал простор целого города, лежавшего перед нашими окнами, его склоны, бухта, вся его панорама, совершенно спокойная, лишенная подробностей, которые заслоняют жизнь. Порт находился далеко, движения судов нам не было видно, они казались лишь пятнами на воде. Едва ли можно было жить теснее, чем в тех двух комнатках, которыми мы располагали. Заниматься туалетом приходилось в кухне, но все-таки мы были дома; у нас была кровать, два стола, стулья и этажерка для книг. В общем, можно было жить. Я забыла упомянуть о радиоприемнике, который связывал нас с остальным миром и помогал немного разбираться в событиях. Большую часть своего досуга Альбер проводил, слушая его. Он записал в книжечке волны передач, которые его интересовали, а их было много. Мы регулярно следили за некоторыми передачами, говорили о них, дожидались их. Внешне мы жили по-привычному, но в стесненных обстоятельствах и тревоге. Не потому, чтобы в сердцах наших жило сомнение; мы знали, на что ответим «нет» и сегодня и завтра. Мы легко нашли множество людей, которые разделяли нашу веру, нашу надежду и наше отвращение. С другими мы не встречались — те считали нас ниспровергателями и опасными. Позднее они пробовали вернуться к нам; через несколько лет, когда игра была уже закончена, они решили, что можно снова, не компрометируя себя, нас приглашать, и были весьма шокированы тем, что мы ответили без восторга на их выражения симпатии и воскресшую дружбу. Альбер не относился к ним сурово. Он обходился без них и будет обходиться; он бывал рад, когда не мешали его работе и досугу.

В то время мы чуть не были вовлечены в одно дело, которое могло кончиться плохо. Кто-то из друзей попросил нас приютить у себя на неделю молодого летчика — он бежал из тюрьмы и стремился в Лондон, чтобы присоединиться к Свободным Силам Франции. Он прибыл к нам — молодой, статный, с открытым, вдохновенным лицом; он сразу освоился со своей ролью тайного гостя. Я сама стирала для него (мы питались тогда не дома) и мыла за ним посуду, чтобы у прислуги не возникло никаких подозрений. Мы не одни заботились о нем — ему раздобыли безупречные фальшивые документы, хорошо составлен-

ное и надлежащим образом подписанное отпускное удостоверение, форменную одежду моряка. Чтобы его не узнали — он был яркий блондин, — мы с подружкой решили выкрасить его волосы и брови в темный цвет.

Представитель из Лондона, который приходил к нам, чтобы обеспечить ему явку в Оране, когда тот сойдет с поезда, сказал уходя: «Побольше бы нам таких ловких рекрутов».

Наш знакомый врач приехал за ним на автомобиле, чтобы отвезти его на вокзал маленького городка, так как за алжирским вокзалом могли следить. На случай, если бы его схватили, он должен был заявить, что жил у нас неделю, а адрес наш получил от наших знакомых в Париже; будучи в отпуску во время перемирия, он очутился без денег и никого другого в Алжире не знает.

Вместе с несколькими другими он отплыл на барке, которая должна была их всех доставить в Гибралтар. Но какой-то матрос предал их, и они успели отойти лишь на несколько метров от берега. Когда летчика арестовали и вернули в Оран, он рассказал все, не дожидаясь допроса: и о документах, и об окраске волос, и о переезде в автомобиле. И вот в одно воскресное утро, когда мы сидели за завтраком, к нам явились два инспектора полиции; они произвели обыск и увели нас с собой. К счастью, один из их сотрудников предупредил нас и мы успели придумать вполне приемлемый сценарий. Представитель из Лондона на очной ставке с теми и другими «не узнал» никого, и, несмотря на то, что нас, замешанных в деле, было пятеро, мы рассказывали с одинаковыми подробностями одну и ту же правдоподобную историю столь удачно, что арестованный, единственный говоривший правду, кончил тем, что отрекся от своих слов, — мы так никогда и не узнали почему.

Оказалось, что он бежал из тюрьмы, куда попал за то, что пытался переправиться в Англию, однако был опознан человеком, который раньше был надзирателем и видел его в центральной тюрьме Монпелье, где тот отбывал наказание за какое-то мошенничество. Опасаясь разоблачения, фальшивый летчик с фальшивыми бумагами запомнил адрес, на лету услышанный во дворе тюрьмы в час прогулки заключенных, и добрался до нас. В Англию он стремился лишь потому, что в этой стране ему легче было «сменить кожу».

В течение двух месяцев следили за каждым нашим шагом. Едва мы переступали порог дома, как Альбер ворчал: «Стоит!



Видишь? Заставим-ка его прогуляться!» — и мы уводили агента, который, вероятно, воображал, что его трудно заметить, через весь город то за покушками, то просто так, по улицам, притом самым людным и грязным. Письма приходили к нам распечатанными и кое-как подклеенными.

Марке обвинялся в заговоре против безопасности государства. Он считал это нелепым. А я, принявшая в этом деле гораздо большее участие, несмотря на показания фальшивого летчика и наперекор истине, числилась лишь свидетелем. Я ожидала Альбера в коридоре трибунала, недалеко от кабинета судебного следователя; во время первого допроса инспектор дважды выходил ко мне с утешительными сведениями:

— Достаточно взглянуть и послушать вашего мужа, чтобы убедиться, что он невиновен. Он явно ничего не знает об этой истории.

Как всегда, Альбер не добивался такого впечатления умышленно. У него требовали уточнений, которых он искренне не мог дать: «Когда этот человек явился к вам? В понедельник или во вторник? Сколько дней он пробыл у вас? Был он одет в синее или серое в первый раз, как вы его увидели? Выходил он один? Давали вы ему ключ от квартиры?»

Было очевидно, что Альбер честно роется в памяти и так же честно не может дать никаких сведений. В понедельник или во вторник? Шесть или девять дней? С тех пор прошло больше двух месяцев, и история эта его никогда особенно не волновала. Он приспособился к новым условиям жизни, которые война навязала ему, как и другим. Люди были далеко от дома, жили где могли, часто — у незнакомых; достаточно было иметь лишнюю кровать, чтобы предложить ее приезжему, которого потом никогда не увидишь.

Альбер мог бы сказать, как наш мошенник: «Моя жена знает об этом больше». Судебный следователь еще никогда не видел обвиняемого, которого так мало тревожило предъявленное ему обвинение; он готов был чуть ли не извиняться перед Альбером за беспокойство. С обычным лукавым добродушием Альбер, подходя ко мне, взглядом указал на «черный ворон», стоявший наготове во дворе трибунала: «Может быть, это для нас?»

Наконец дело было прекращено благодаря ловкости нашего адвоката, который не побоялся изъять из папки следователя единственную бумагу, неопровержимо нас изобличавшую. Альбер уверял меня, что никогда не относился ко всему этому всерьез, так же, как и я, и эта история не научила нас никого не пускать в дом. Правда, мы не могли больше снабжать наших друзей припасами — связь была прервана, но нужно было что-то делать, и в продолжение всей войны, в деревне, где мы наконец устроились просторнее, к нам непрерывно являлись люди из самых различных слоев общества. Офицеров было мало, они нам докучали.

Оба мы предпочитали им, например, колоритного араба, который, несмотря на юный возраст, «испробовал» все политические партии, начиная с партии Дорио. Расспросив о его прошлом и выяснив его способности, ему сказали: «Ты не умеешь ни писать, ни читать. Что же тебе можно поручить? Ну хорошо, будешь продавать на улице газеты».

В первый же день его схватили и приговорили к тюремному заключению. Разочарованный этим неудачным опытом, он сделал другой и вступил в Коммунистическую партию. На основании тех же оценок ему была поручена та же работа, и это привело к тем же последствиям: «А теперь, как узнать, что такое голлистская партия? Я не продавал газет, но не поэтому я не в тюрьме, а только потому, что удрал оттуда вчера». Пораздумав и перестав улыбаться, так как он считал дело нешуточным и длительным, он заключил:

— И все-таки, после того как я все попробовал, для рабочего, думается мне, Коммунистическая партия лучше всего.

На другой день мне пришлось ему растолковывать, что в Свободные Силы Франции перестали принимать мусульман. В оправдание я ему говорила, что Свободные Силы снабжаются американцами и принуждены принимать их консервы, «а во многих из них, сам знаешь, находится свинина, есть кото-

рую запрещает твоя религия. Однако, прежде чем отправиться в деревню, я побывала во Всеобщей конфедерации труда, и вот тебе два адреса, по которым ты найдешь приличный заработок».

— Ну о чем ты беспокоишься? В Алжире я и без тебя устроюсь! Это мой родной город.

И, поблагодарив нас таким образом, наш Гассан отправился в «родной город» с веселой непринужденностью, которая привела Марке в восторг. Я еще слышу, как Альбер от души смеется рассказам, доходившим до нас, и новостям, которые я сама разузнавала у наших постояльцев; я рассказывала все это Альберу, пока он работал. Постояльцы были самых различных национальностей, говорили на разных языках. Один вспоминал Камерун, где он оставил процветающую торговлю, другой говорил о стране, где родился и к которой сохранил привязанность:

— Вот ты говоришь, что я посмотрел негров на всю жизнь! Чего я хочу теперь? Жену, троих детей, маленький домик в глубине сада и покой.

И он рассказывал, как он выехал из Чада, миновал Фессан и как сражался в Южном Тунисе, он явился к нам, чтобы провести тут три недели отпуска, первого после того, как он покинул Брест 14 июня 1940 года, сказав матери, что идет в кино. Ему было девятнадцать лет, и он уехал потому, что не мог спокойно дожидаться немцев. Он говорил об этом, как о чем-то само собою разумеющемся, о чем-то, что никому не пришло бы в голову оспаривать. Он отплыл в Англию вместе с приятелями, даже не зная, есть ли по ту сторону организация, которая их примет. Там он прошел курс военного обучения, и этих недель было достаточно, чтобы заметить большие изменения, происшедшие в образе жизни англичан.

— Они повсюду насажали картофель,— рассказывал он.— Можете ли вы представить себе лордов, которые останавливают свои автомобили, чтобы пригласить вас позавтракать, и не в ресторан, а к себе,— и, обернувшись к своему очередному собеседнику, ливанцу из Камеруна, продолжал: — а на столе, старина, около твоей тарелки куча замысловатых вилок и ножей — не знаешь, что с ними и делать. Я смотрел на других и поступал, как они.

Несмотря на воспоминания об этом великолепии, он мечтал только об одном — как бы возвратиться к своему скромному очагу:

— Удивляюсь, почему ты так держишься за свой Камерун, ведь ты не негр.

— Но, друг мой, образование у меня небольшое, что же могу я делать во Франции? — отвечал ливанец, раскатывая звук «р». — Быть всю жизнь рабочим, тогда как там с пятьюдесятью тысячами франков я меньше чем в десять лет могу сколотить состояние.

— А есть у тебя эти пятьдесят тысяч?

— Найду: у друзей, у родных. Они меня знают, они уверены, что за мной деньги не пропадут.

— А, кроме того, ты можешь распухнуть от москитов, подхватить болотную лихорадку, колики.

По окончании отпуска они уехали, пополневшие и посвежевшие, унося свои столь различные надежды, один веселый, другой — чопорный. Они отправились в Англию, чтобы дожидаться там отправки в Нормандию. Живы ли они теперь? Нашли ли они в конце своего пути ту жизненную колею, о которой мечтали? Известий не было. Они были хорошо у нас приняты, их хорошо кормили. Это самое малое, что мы могли сделать для них, ведь они рисковали жизнью, чтобы обеспечить наше будущее.

Самому молодому из наших гостей было семнадцать лет. Он был сыном рабочего, воинствующего профсоюзника. Мать от-



правила его однажды вечером в путь, отдав ему все семейные сбережения — триста франков. Произошло это потому, что накануне арестовали его отца; в его одежде, оставленной в заводской гардеробной, обнаружили то, чего у него никогда не было: заряженное оружие и коммунистические листовки. «Негодяи! Ловко подготовили удар!»

Наш гость был еще ребенок, затерянный среди двадцати семи парашютистов, съехавшихся из разных мест. Им пришлось скрываться, потому что во время общего бедствия они украли грузовик, а он упал в канаву и разбился раньше, чем они успели его перекрасить и сменить знаки. Эти люди не ведали куда идти, они не принадлежали ни к какому воинскому подразделению и не находились ни у кого в подчинении. Они представляли голодную ораву, которая, обрушившись на нас, в двадцать четыре часа съела и выпила всю провизию не только у нас, но и у нашего соседа, не считая инжира и винограда в саду. Было лето. Они спали у нас под окнами на соломе, циновках и коврах. Так как они были одеты почти по-военному, на другой день им удалось присоединиться к отряду, который направлялся в Тунис. Своего младшего компаньона они оставили. Полиция сразу же обратила бы на него внимание, так как он был одет в шорты и клетчатую рубашку, которую ему дали в английском консульстве в Португалии, после того как он бежал из испанской тюрьмы. Он вернулся к нам смущенный и печальный и робко произнес:

— Что же мне делать? Здесь я знаю только вас.

Просыпаясь, он потягивался как зверек:

— До чего же упоительно в постели!

Шесть месяцев ее у него не было. Он говорил о своей матери, о бабушке — ребенок! Он жил у нас не один. Вскоре он стал приезжать к нам только на время отпуска, его взяли в армию. Однажды вечером он пришел запыхавшись:

— Я узнал, что завтра рано утром будет отправка, я прибежал, чтобы известить товарищей (двух молодых французов, как и он, бежавших из Испании; он знал, что они живут у нас). Если они явятся сейчас же, то успеют оформиться и тоже поедут. (Мы жили в двух километрах от казармы.)

Он получил военное обмундирование и поэтому принес мне вещи, которые ему были уже не нужны: шорты, рубашку, пару туфель на веревочной подошве:

— Отдайте это парням, которые будут у вас после меня.

Мне довелось увидеть, каким он возвратился. Что сделала с ним война! Ни застенчивости, ни смущения, одна грубая самоуверенность, планы быстрого обогащения, вид человека, все знающего. Он не настолько глуп, чтобы повторить жизнь своего отца: пусть каждый выпутывается по-своему!

Альбер был удивлен меньше меня и слегка посмеивался над моим разочарованием. Однако он никогда не осуждал людей заранее и не думал, что тот или другой не стоит тех забот и тревог, которые доставляет мне и ему самому. Мы жили в тревоге, как и все; мы не могли замкнуться в оазисе мирного существования, не могли, успокаивая себя всякими доводами, заниматься своими делами и беречь драгоценное время. Да если бы и хотели, нельзя было жить спокойно. Мы жили прислушиваясь, с бьющимся сердцем. Когда Альбер узнал, что знакомые художники уехали по приглашению рейха для приятного путешествия по Германии, он подумал сначала, что это грубая провокация: «Этого не может быть. Вряд ли они так глупы!» И он то и дело повторял их имена; он много думал об этом, возмущался, стыдился за них. Матисс, откликнувшись на эту новость, писал Альберу: «У них гибкий хребет».

Однако, принимая участие в бурном обсуждении этого поступка, когда другие художники кричали: «Больше нельзя позволять им выставляться», — Альбер спокойно вносил поправку: «Если бы после войны мне поручили устроить выставку за границей, то я все-таки пригласил бы некоторых из этих художников, потому что это хорошие живописцы. Исключив их, мы рисковали бы нанести ущерб славе французского искусства». Но, помолчав, он прибавил: «Только я их не приму у себя». Остальные восклицали: «Значит, не надо их наказывать?» Альбер держался своей точки зрения. Он не отступил от нее и тогда, когда его противники, даже самые ярые, забыли о своей прежней непреклонности.

До 1942 года мы отправляли посылки голодающим друзьям, оставшимся во Франции; мы добывали продовольствие в разных местах, которые я отыскивала. Я переправляла провизию сначала к нам, а потом на почту. Мы обменивались новостями, и верными и ложными. Мы старались перехватывать секретные радиопередачи, мы ждали. Наконец, однажды услышали слова: «Робер прибывает». И вот наступил день высадки. Сначала провал: попытка не удалась, судну пришлось уйти обратно в открытое море под огнем портовых батарей. Но дело на этом не

кончилось, и сначала через Сиди-Феррук, потом по всем путям и дорогам, сходящимся к Алжиру, стали прибывать войска — американцы. По правде говоря, больше всего было англичан, которых называли американцами из-за Мерс-Эль-Кебира, где погибло немало алжирцев. Весь город вышел на улицу им навстречу. Некая дама, из породы тех, которые охотно поджигают губы и устремляют взоры вдаль, сказала мне в трамвае, где я не могла спокойно усидеть на месте: «Можно подумать, будто это 14 июля».

В ее тоне чувствовалось отвращение, а когда я ей ответила: «Да! И какое 14 июля!» — она повернулась ко мне спиной; мы принадлежали к разным мирам.

Альбер не меньше меня стремился на шоссе, в гущу толпы. Нам казалось, что все проблемы решены. Он, конечно, уже начинал сомневаться, однако не смущал моей радости, пожимал мне руку, и мы шли быстрым шагом, уносимые общим потоком. У всех глаза сияли радостью, значки легионеров совсем исчезли. Возможно, что обладатели их остались дома.

Я не смогла сохранить для Марке его мастерскую в порту — она была реквизирована, и нам пришлось жить за городом, недалеко от Алжира, на склоне холма. Мы находились выше стрельбищ противовоздушной обороны и могли наблюдать бомбардировку города.

Племянник поступил в армию. Мы еще глубже погрузились в гущу событий. Иногда я замечала, что Альбер начинает тяготиться своим изгнанием. Однако он не жаловался. Могло быть и хуже: сколько людей было несчастнее его! Но я видела его растерянный взгляд; каждый вечер он упорно продолжал читать басни Лафонтена, а днем особенно искал общества наших животных. Его любимца Рамату — черная, тонкая сука-волкодав поджидала у двери, когда он кончит работу. Она знала, что перед едой с ней поиграют. Альбер бросал ей камень, она лаяла, бежала за ним и с блестящими глазами ждала следующего. Сиамская кошка Гатуна издали наблюдала за этой азартной игрой. Она была сама нежность. Без нас она скучала, и я всегда была уверена, что, возвратясь домой, найду ее у входа. Во время бомбежек она карабкалась мне на плечо и прятала голову у меня на шее. Если Альбер звал меня к окну взглянуть на зрелище, она была со мной, рядом со своим хозяином, в привычном уютном мирке. На прогулках, за чтением, за игрой наши животные были возле нас, сначала уже имевшиеся в доме, а потом их

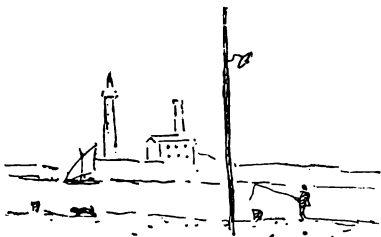
малыши, которым тоже надо было дать место: у нас скоро оказалось несколько поколений кошек всех цветов и различных характеров. Я не забываю и остальных — кур, уток, гусей, цесарок, козу, козлят, появлявшихся каждую весну, и в течение нескольких месяцев одну или двух свиней. Марке навещал их ежедневно. Я приносила ему только что вылупившихся цыплят, он любил наблюдать за ними, присутствовал при их стычках, рисовал их, собирал траву для козы и ее детенышей, объяснял мне, что они особенно любят. Это были наши лучшие товарищи, самые верные. Ничто не угрожало разлучить нас, у них не было выбора, и, покидая их в мае 1945 года, мы не подозревали, что никогда их больше не увидим. Ошибаюсь. Мы с ними встретились в 1946 году, во время последнего путешествия в Алжир. Уже после, в год катастрофы, они исчезли, и я только могла сказать: «Как, Рамату, Гатуна тоже?..»

Тень не может усилить мрак. Зачем бы осталось у меня что-то, что некогда составляло часть нашего зачарованного мира, — несмотря на войну, на бедствия, которые она нам принесла, на стыд, в который она нас подчас ввергала? Альбер не мог освободиться от того, что он сам осуждал, и он до глубины души чувствовал угрозу своим человеческим чувствам. Когда мы говорили о жизни, которую опять поведем в Париже, то, хотя она в общем и представлялась ему как продолжение прежней, все же он знал, что не будет больше держаться в стороне: «Теперь я буду голосовать! Я знаю, чему надо говорить «нет», и знаю, что каждый из нас обязан это делать».

За несколько месяцев до высадки союзников в Алжире он сумел это сказать, когда был приглашен участвовать в «Салоне Тюильри». Прочитав на присланном ему для заполнения листе, что требуется удостоверить, что он не еврей, он покраснел от негодования. Одновременно один друг известил его, что уже собираются развесить три или четыре его картины, предоставленные на выставку без его согласия. Альбер обернулся ко мне и вскипел:

— Устрой так, чтобы моих вещей не выставляли. Пиши кому хочешь, всем знакомым, но я не желаю участвовать в этой гнусности.

Я тотчас написала шесть писем, и все шесть дошли. В последний момент картины были сняты: Марке в выставке не участвовал, а так как в каталоге имя его значилось, то все поняли, что он отказался. Немцы постарались отомстить: они стали вы-



ведывать, не собираемся ли мы возвратиться в Париж, давали понять, что мы можем сделать это как только захотим и без всяких хлопот: нужные документы будут нам высланы почтой. Альберу не хотелось даже вникать в эти предложения; тогда немцы вспомнили, что протест французской интеллигенции против нацизма и фашизма был подписан также и Марке. При их вступлении в Париж афиша еще висела на стенах. Им было известно, что наша мастерская перевезена родственником, которому мы доверили защиту своих интересов. По возвращении мы узнали, что произошло. Первой обратилась к моему кузену некая француженка, назвавшаяся чиновником парижского муниципалитета; ей якобы поручили выяснить, нет ли в мастерской Марке среди принадлежащих ему картин полотна, которое несколько месяцев назад город ему передал на время для выставки его картин в Буэнос-Айресе. Она напала на человека рассудительного; он сообразил, что город или страна несут ответственность за то, что им принадлежит. Он извинился, что не может пойти навстречу ее пожеланию и привел следующий довод: по распоряжению Марке он сначала вывез мастерскую, а вскоре, и опять-таки по его распоряжению, отправил все в Серё, где мы проводили лето 1940 года, а так как мы оттуда выехали, чтобы обосноваться окончательно в Алжире, то он предполагает, что мы взяли с собой все свое имущество. Был составлен протокол об этих переговорах, и немцы ни секунды не подумали, что мой кузен мог лгать француженке, хоть она и была весьма подозрительна. В течение десяти дней его допрашивали по шесть-семь часов во всевозможных учреждениях:

военных, гестаповских и эсэсовских. Таким образом, он многое узнал о нашей жизни в Алжире, о том, каких друзей мы у себя приютили; можно было подумать, что мы нарочно собираем всех бунтовщиков, достойных расстрела или ссылки: «Марке — глава группы, известной своей антинемецкой деятельностью».

Немцы настаивали, предъявляли доказательства, которые им поставляло Радио-Браззавиль, расставляли западни, пробовали запутать моего кузена, но безуспешно, а чтобы не тратить даром времени, в итоге каждого допроса они требовали денежного возмещения: в общем, несколько сот тысяч франков. Мой кузен торговался, а они и сами сомневались, что он может заплатить больше, поэтому сошлись на сорока тысячах. Первый раз взяли за то, что по случаю приезда в Алжир генерала де Голля ему была подарена картина, второй раз — за картину, пожертвованную в пользу повстанческой авиации; потом, углубляясь в прошлое: сорок тысяч франков за то, что мы посетили СССР в 1934 году. Получив дополнительные сведения, они спустя несколько дней потребовали еще сорок тысяч за то, что перед отъездом мы завтракали в ресторане на Елисейских полях с атташе советского посольства. Был и еще штраф, уж не помню за что.

В квитанции отказали. Мой кузен потребовал расписки: «Расписки? К чему это? Марке по возвращении будет расстрелян, а его имущество конфисковано!»

В довершение игры я оказалась дочерью Андре Марти, с которой Марке, бросив жену, сожительствовал в Алжире.

— Да нет, — оспаривал мой кузен, — Марсель Марти — это литературный псевдоним, под которым его жена опубликовала три книги. Она просто сократила свое имя: ее фамилия, как и моя, Мартине.



— Ох, уж эти французы,— вздыхал дежурный офицер,— они считают нас за дурней и воображают, будто всегда выкарабкаются благодаря остроумному словечку.

Госпожа Геринг потребовала наброски кистью, сделанные Марке в Гамбурге в 1909 году. Это удалось ей не больше, чем другим. Ничего не досталось немцам! Всецело доверяя документу, который был у них в руках, они и не подумали следить за домом моего кузена, а он воспользовался этим и по частям вывез картины и доверил их надежным друзьям, которые их нам вернули при нашем возвращении. Когда Марке стал извиняться, смущенный тем, что взвалил на друзей такую большую ответственность и такое опасное поручение, мой кузен ответил:

— Да что вы, это я вам благодарен. Я уже не в том возрасте, чтобы воевать, но я из себя выходил, глядя на них, мне было стыдно, а вы доставили мне случай сделать что-нибудь им назло. Я спас картины Марке. Сочтем это за мою долю участия в Соппротивлении.

Немцы вдруг прекратили розыски картин; возможно, что тут повлияло письмо, которое Альбер послал из Алжира Матиссу; оно было воспроизведено в подпольном номере «Пуэн». Марке нарисовал себя под сияющим солнцем, с лейкой в руке, в большой шляпе с птицей, сидящей на тулье; под рисунком была надпись:

«Я послушался маршала и вернулся к земле. Теперь у огородной культуры уже нет больше от меня тайн».

«Может быть, Марке взаправду сделался приспособленцем»,— спрашивали себя немцы и, за неимением лучшего, делали вид, что поверили этому. Кузена больше не беспокоили, он мог вновь посыпать нафталином свой старый офицерский мундир, оставшийся от войны 1914 года, и сразу же после нашего возвращения он вернул нам картины, рисунки и акварели; они были им классифицированы и описаны. Все это было спасено его заботами. Восемь картин, которых не доставало, были обнаружены в других местах. Одна в Ла Фретт; Франсуа Денуайе вывез оттуда все, что Марке оставил в своей деревенской мастерской, но эту картину ему пришлось оставить, так как она «скрашивала досуг» поселившегося там интеллигентного офицера. Остальные были конфискованы как имущество евреев в доках Бордо. Картины, возвращавшиеся с выставки в Буэнос-Айресе, несмотря на наши возражения, были переданы Луи

Отекёром¹ оккупационным властям. Немцы, завладев картинами, отказывались их выдать. Впоследствии мы получили из них лишь одну.

Марке не придавал особого значения тому, что принужден был платить незаконно штрафы; он считал, что отделался дешево. Он отказался участвовать в выставке художников, уезжавших во время войны. Он считал неприличным привлекать внимание, да еще хвалиться положением, которое имело свои преимущества: лучшее питание и меньший риск.

8 мая 1945 года мы были в Париже. Мы ходили по Елисейским полям, и Альбер мне говорил: «Непохоже, что кончилась война». Он вспоминал о другой войне, о ликовании 1918 года, о волне надежды и веры, которые тогда воодушевляли толпу. Среди мрачных людей, теперь нас окружавших, никто, казалось, не верил, что все это на самом деле кончилось. Это только передышка, и борьба возобновится глухо, по-другому: ничего еще не было решено. Мир менялся, одни старались, чтобы это произошло скорее, другие изо всех сил — деньгами и властью — тормозили движение: «Я знаю, чему всегда буду говорить «нет»...

Марке твердо держался своих позиций. Иногда у него просили поддержки, разрешения воспользоваться его именем. Пожалуйста! Коммунизм не пугает его: он никогда не считал, что мир устроен хорошо и неизбежно; он на стороне тех, кто хочет его преобразить, но сам он не создан для трибуны, для речей, для позы и для того, чтобы его фотографии печатались в журналах. При всех обстоятельствах ему нужно было писать книгу, и это было его способом выражать то, что он думает, каков он сам, к чему он стремится без колебаний, без оглядки, но и не привлекая к себе внимания окружающих, всегда со спокойной твердостью, на которую можно было рассчитывать и опереться.

¹ Луи Отекёр — искусствовед.

IX

Настал 1946 год. История близится к концу. Мне остается лишь два года, которые я так хотела бы удержать и продлить! Мне страшно поставить последнюю точку в этой книге, мне кажется, что тем самым я как будто уступлю тебя, а я не могу и не хочу этого! Как могу я оборвать все узы, выпустить якорь и отдаться на волю стихии? Мне выбирать не приходится, я могу лишь следовать с тобою вместе по нашему пути.

Лучшее от Марке осталось со мной, мне об этом постоянно говорят, и я стараюсь верить в это: он принадлежит не мне одной, я должна помочь узнать его глубже и следить за тем, чтобы его вклад не был искажен. Если трудно было подойти к нему, то лишь тем, у кого не было внутренней свободы и кто не умел так, как Альбер, быстро добираться до самого существенного и придерживаться его.

Как тяжело мне жить без тебя, мне негде восстановить силы и уверенность. В себе самой? Я слишком бедна. Мне нужно, чтобы я чувствовала себя с тобой: картина, рисунок — и вот я в своем мире, но едва я выхожу из него, едва оказываюсь перед только что забытым, по-прежнему неприемлемым, и я как будто грежу наяву.

Одинокое возвращение в Алжир. Наши соседи, люди простые, не могли этому поверить. Уличные дети, старики, проходившие мимо, заходили пожать мне руку, и внутренний голос подсказывал им ни о чем не расспрашивать. Им хотелось, чтобы я вновь стала оказывать им внимание, как во времена войны, когда я знала все их опасения и надежды, писала за них письма и руководила их хлопотами. Теперь я была лишь проездом... Ты не узнал бы меня теперь, я уже не отдаюсь теперь целиком тому, что делаю. Я говорю себе, что не имею права отдаляться от людей. Я не единственная, понесшая такую утрату. И с другими это было, и с другими будет. Никто лучше меня не найдет, что можно мне возразить, но утешения это не приносит.

Со временем я стала устраивать выставки, присутствовать на вернисажах. Наконец, благодаря мэру города, ты как бы обожновался в Бордо, где я видела и переживала вещи, которые могли бы тебе понравиться. Воспоминание о тебе помогает мне возмещать пробелы и разочарования. Я так хорошо знаю, что бы ты сказал и как бы улыбнулся. Твоя «обманщица» старалась выполнять работу как можно лучше. В это лето я поеду

в Копенгаген; в прошлом году, во время короткого пребывания там, мне удалось подготовить выставку в музее. Будущей зимой я отправлюсь в Израиль — повсюду для тебя, с тобой. Как видишь, я продолжаю двигаться по нашему пути. О, если бы я могла всегда быть в этом уверена!

1945 год: год нашего возвращения в Париж. Все же это было не так прекрасно, как мы мечтали. Сколько раз я слышала твое ворчание: «Они опять наделают глупостей». Казалось, однако, что дело налаживается. Можно было надеяться, что за столь глубоким потрясением последуют большие перемены, но одни оказывались неловкими, другие, подобно моллюскам, врастали в свой мертвый утес.

К счастью, Марке писал. Ничто не могло отнять у него радость вновь обрести Сену в Париже и в Ла Фретт. Париж весной этого года был пуст и молчалив. Как ты любил бродить по нему пешком, вновь обретать его, заглядывать в знакомые закоулки! Часто ты отправлялся один, когда мне нужно было отдохнуть — я чувствовала усталость от предшествующей суеты и хлопот, но ты не верил, что я действительно устала. Ты признавался мне, что не можешь обходиться без меня, и я снова становилась ярым ходяком, увлекала тебя за собой и рассказывала тебе всякие новости.

Мой племянник, вернувшийся с войны, нашел, что я изменилась. Ты его успокоил: «Это ненадолго» — и снова ты оказался прав.

Жизнь восстанавливалась. «Время проходит, не затрагивая вас, Марке!» Альбер скептически улыбался: девушки уже уступали ему место в метро. Когда я ему говорила, что седею, он замечал смущенно: «Странно, но я никогда не думаю о твоём возрасте, и о своем тоже».

Как в Париже, так и в Ла Фретт Марке чудесно чувствовал себя дома. Сколько раз подымались и спускались мы по одним и тем же берегам, бродили по тем же тропинкам по склону холма над Сеной, и всегда это было что-то иное: время дня, ветер, облака — и река преображалась. Как радовался он, видя, что возрождается навигация. Он пересчитывал барки, прицепленные к буксирам, он бывал доволен, когда они шли под грузом и вода доходила им до ватерлинии. Жизнь набирала силы, и, несмотря на ошибки, алчность, эгоизм и глупость человеческие, она возьмет верх: в этом была основа оптимизма Альбера, прочная основа его уверенности и душевного здоровья.

Я вспоминаю, как ты сорвал для меня в нашем саду в Алжире две-три фиалки; они были залогом жизни, удачей, которую ты мне дарил, молчаливой поддержкой. Как нужны были бы мне теперь эти три фиалки!

1945 год. Мы вновь обретаем наших друзей, как и мы, постаревших, но ожидавших нас на своих местах, в том же состоянии. Жизнь возобновлялась; наш дом оживал, вечера вновь становились такими, какими были всегда: спокойными, принадлежащими нам одним или посвященными друзьям. В прогулках я с трудом следовала за тобой. На прежних местах были и твои мастерские: в Париже, высящаяся над Пов-Неф, и в Ла Фретт — обширный амбар с толстыми балками, откуда ты наблюдал течение Сены от Эрбле до Сартрувиля, наслаждаясь простором и тишиной. Потом наступила осень, настоящая, с желтыми деревьями и тучами, несущимися по небу, с бесприсветными дождями и с землей, засыпающей в ожидании зимы; как радовался ты, вновь обретая то, чего лишала тебя моя страна!

1945 год. Что осталось у меня от него? Я не знала, что нужно было жадно пользоваться каждой его минутой. Я тоже, при этом в первый раз, чувствовала себя дома в Париже. Ты понял это без моих объяснений. Наше единство крепло. Скажи тогда, что же могло его подорвать, не сокрушив меня? Отсутствие тебя! Я все еще не верю в это.

1945 год. Это был год возвращений и восстановлений связей. Я забывала, что все убегает и ускользает от нас. Мы строили планы, особенно я. Ты довольствовался тем, что слушал меня, соглашался, ты всегда больше меня жил настоящим, ты не позволял себе выходить за его пределы. Ты будешь работать, а я буду возле тебя. Чего тебе еще недоставало, чтобы продолжать свое дело и находить в нем утешение?

Альбер мало говорил о своей неудовлетворенности, но он был неудовлетворен. Он говорил себе, что в его возрасте благоразумие велит ценить то, что умеешь делать. Он натягивал холсты, писал, мыл кисти, и часто после чтения газет и слушания радиопередачи он пожимал плечами: «Вот дети! Вот сумасшедшие!» Но он не забывал, что все мы плывем на одном корабле. Он надеялся, что перенесенные страдания послужат уроком, а выходило так, что каждый как будто входил в прежнюю колею. Немного, не совсем, лишь в некоторые минуты, а этого было достаточно, чтобы поддерживать надежду и веру в плодотворность.

творность усилий. Во всяком случае, ничто не дает права держаться в стороне, и Марке соглашался, чтобы пользовались его именем, давал свою подпись; он отказывался только быть на виду. Больше всего он любил оставаться незамеченным и сохранять свободу наблюдателя. «Пойдем?» — и он увлекал меня туда, где меньше народу и откуда удобнее было наблюдать.

1945 год. Марке вновь увидел все, что ему было возвращено: картины, рисунки, письма. Сколько позабытых вещей и людей! «Это было в...» — и он старался вспомнить год путешествия или встречи. Даже некоторые наши общие воспоминания успели потускнеть. Нас это крайне удивляло — ведь нам казалось, что мы так мало времени провели вместе.

«Может быть, пора вновь сделать тебе предложение?» — и в ответ на эти слова, ты крепко пожал мне руку. Но мне, по-видимому, начинает казаться, что ты возле меня, и я говорю то, что может интересовать только нас двоих...

Настал 1946 год, время нашей последней поездки в Алжир: Рамату, Гатуна, гуси, утки, куры и повсюду герань. Аканфы заполнили все аллеи сада, глициния появилась в таких местах, где ее прежде не было. Я почувствовала, что ты отвык от нашего уголка: это был для тебя лишь привал, отдых, случай доставить мне удовольствие. Казалось, на то время, которое тебе оставалось прожить, тебе достаточно будет одного Парижа.

Марке возвращался туда всегда спокойным и верным самому себе. Давид Вейль, осмотрительно не предупредив об этом, предложил однажды Марке вступить в Институт¹. Никогда не видала я человека, который отнесся бы к этому так отрицательно, как Альбер. «Я рад бы доставить вам удовольствие, но попросите у меня что-нибудь другое. К чему это?» Доводы Вейля были превосходны: нужно изменить общий дух Института, внести в него свежую струю, приблизить к жизни. Вот Вюйар², тот понял, какая цель в данном случае преследуется, и согласился предпринять необходимые шаги. «Следуйте его примеру, нам нужны такие люди, как вы и он». Альбер покачал головой: «Все, что хотите, только не это».

¹ Институт — французская Академия наук.

² Эдуард Вюйар (1868—1940). — живописец, писал пейзажи и интерьеры с фигурами.



Альбер был так явно смущен, что Давид Вейль попробовал прийти ему на помощь:

— Вас затрудняют, быть может, предварительные визиты? Вы будете освобождены от них, так же как и Вюйар. Моя секретарша доставит ваши визитные карточки тем, кого вы должны будете повидать, и никто не потребует от вас большего. Это заранее согласовано и принято, как заранее согласовано и ваше избрание. Ни о каких затруднениях или о неудаче не может быть и речи. Все чрезвычайно просто, а для нас было бы такой честью и радостью иметь вас в своих рядах, что я настаиваю на вашем согласии.

Альбер не знал, как усидеть на месте. Боже, до чего ему тягостен был этот разговор! Он ставил себя на место Давида Вейля. Он понимал значение, которое тот придает своим хлопотам, но зачем было за это браться, не осведомившись заранее? Предварительный телефонный звонок избавил бы его от огорчения, которое, как Альбер видел, придется ему причинить. Он благодарил Вейля, он говорил о том, как тронут столь лестным предложением, но — увы! — он не может согласиться.

— Есть ли у вас какие-нибудь уважительные доводы, подкрепляющие ваш отказ? Ведь нам необходимо, чтобы об изящных искусствах заботились такие организации, как Институт и Школа.

Тут вдруг Марке обрел весь свой боевой дух и на этот раз, плотно усевшись в кресле и покраснев, быстро возразил:

— Школу изящных искусств, уж если о ней зашла речь, — я без колебания бы упразднил, будь у меня на это хоть немного власти.

Вопрос был исчерпан. Давид Вейль почувствовал это и поднялся, чтобы откланяться. Он был недоволен, и, провожая его, Альбер не знал, что придумать в свое извинение, и предлагал свои услуги в любом мероприятии, но, когда посетитель уехал, Альбер подошел ко мне и воскликнул:

— Что за нелепая идея! Они хотят, чтобы я нарядился в инкассатора!

Он оставался все тем же человеком. Равнодушный к почестям, ничего не понимая в них, нисколько в них не нуждаясь, он смотрел на все, как на забаву, и был уверен, что его это не касается:

— Если это их занимает и тешит, пусть украшаются титулами и увешивают себя орденами.

Он не видел в этом ничего дурного. Он мог улыбаться этому, но без презрения: ведь у каждого свои слабости. Как и в прежние времена, он признавал за Школой изящных искусств лишь одну заслугу — она предоставляет отапливаемые мастерские и бесплатных натурщиц нуждающимся молодым людям. Но преподавателей он бы с легкостью разогнал. Когда в самое последнее время к нему пришла ученица, избранная своими товарищами, чтобы попросить у него картину для Школы, он, не колеблясь, сказал мне:

— Передай ей, что я охотно дам, и притом большую, если речь идет об упразднении Школы, но не дам ничего для ее поддержки.

Когда он уже слег, чтобы больше не встать, и со всех сторон ему звонили по телефону, предлагая орден Почетного легиона и снова предлагая Институт, он лишь пожимал плечами:

— Они, видно, так меня и не поймут!

У него была совсем другая забота! Он приближался к своей кончине, знал об этом и хотел оставаться самим собой до конца, до конца без единой погрешности, без компромисса, без позы, держась лишь собственными силами, требуя лишь моего присутствия. Чтобы подчеркнуть, как мало он придает себе значения, что ему больше нечего сказать, нечего сделать, он брался за книгу. Не один он на свете, другие будут существовать, и Бальзак, том которого всегда был у него под рукой, погру-



жал его в волны общечеловеческого. До самого конца он пер-
жался в обычных границах: до конца он оставался тем, кем
был всегда.

Все же, он совершил еще одно последнее путешествие —
в Граубюнден¹. Я колеблюсь, говорить ли об этом. Я боюсь ли-
шиться сил. Как легко было нам быть счастливыми! Нас вместе
с другими художниками пригласил кантональный профсоюз, и
нам оставалось только плыть по течению. Утром здесь, вечером
там, в долине, на склоне горы или на берегу озера, всюду ты на-
ходил себе уголок, устраивал себе местечко. Ты выбирал, куда
бы мог вернуться для работы. С нами говорили дружелюбно,
мы жили в атмосфере горячей симпатии. Никогда еще я не ви-
дела тебя таким уверенным и довольным жизнью. По возвра-
щении тебя ждала в Ла Фретт осень, которую ты так любил.
Ты ласково глядел на воду, на берега Сены, на деревья и обла-
ка, ты чувствовал себя дома.

А теперь мне нужно все бросить или рассказать, как час за
часом рушилось наше здание. К чему? Чтобы доказать, до чего
Марке оставался до конца духовно устойчивым. Он почти не
жаловался. Его продолжали занимать все те же вопросы; его
оперировали 14 января, а через два дня по возвращении домой,

¹ Граубюнден — один из кантонов Швейцарии.

31 января, он не мог устоять перед зовом снега, и я видела, как он потащил к окну стул, мольберт и ящик с красками и уселся писать, как бывало, с тем же прилежанием и, как я уже говорила, нашел в себе силы довести рабочий сеанс до конца.

У меня сохранилась и эта картина и те, что за ней последовали: всего восемь, и все они написаны с обычной уверенностью и добросовестностью. Никаких уступок, никакого снисхождения и безвольной разнеженности, которые можно было бы извинить состоянием здоровья. Только то, что он видел, что чувствовал, и так, как он умел это выразить: честно и искренне. Потом он все сложил, вымыл кисти, ни о чем меня не попросив. Я старалась не подавать виду, что наблюдаю за ним, что мне страшно, и что минуту спустя я обезумела от надежды. Когда снег был написан, он приготовил полотно для будущей работы, не щадя себя, работая на коленях на паркете мастерской. Я знаю теперь, что он хотел лишь испытать свои силы. Он хотел жить, но так, чтобы никому не быть в тягость, ни у кого ничего не просить. Он принимал лишь мою помощь: «С тобой я могу быть один», — и я делала вид, что не понимаю, когда он пытался подготовить меня к тому, что, как он чувствовал, скоро наступит, хотел вернуть меня к действительности: «С каждым днем меня все больше одолевает усталость». Мы были вместе до конца, мы сменяли одно лекарство другим, чтобы создать себе иллюзию, будто мы продолжаем борьбу, в смысл которой изо всех сил старались верить.

В доме были цветы, нас навещали друзья, и каждый час сна бывал для нас победой. С неиссякаемым добродушием Альбер соглашался на все попытки лечения, которые в глубине души считал бесполезными; он делал вид, будто верит ободряющим словам врачей. Лишь иногда, в отместку, одним четким словом определял он истинное положение вещей и улыбался при этом, как бы извиняясь и смягчая резкость своего замечания. Он переносил все возраставший упадок сил с потрясающим достоинством. Его мужество, его постоянные усилия имели определенный смысл: это было для него единственным средством не покидать меня. Он включился в мою игру мимолетных, бессмысленных надежд и пробовал мне помочь, он видел, в каком лабиринте я блуждаю, и если он и спросил меня два-три раза: «Думаешь ли ты, что в таком состоянии, как мое, стоит жить?» — то спросил это так осторожно, словно, покидая меня, просил моего согласия.

Я решилась понять все лишь под конец, в тот последний день, который казался тебе бесконечным, тебе, любившему только свет, и в тот день, 13 июля, когда вечер угас, я повторила тебе мое старое предложение: «Сегодня вновь предлагаю тебе брачный союз». Твоя рука накрыла мою, и вот так ты мирно заснул в свою последнюю ночь. Как можно вынести, что бывает в жизни минута, за которой не следует другая? Я до сих пор этого еще не поняла.

Оставим это: друзья, которых я не захотела видеть, мое опеченение, мое безумство, мое бегство в Ла Фретт, куда тебя отнесли, чтобы оставить на холме, возвышающемся над Сеной. Некоторые сомневались, хотел ли ты этого. Значит, они тебя мало знали. Ты соглашался со всем расстаться, и тебе не свойственно было думать об увековечении, которое, по-твоему, ни к чему не ведет. Оставим это.

Ты живешь в своей мастерской, в своих картинах, своих рисунках. В них ты живешь, и мне случается даже улыбаться, до такой степени я чувствую твое присутствие в том, что ты запечатлел. Я не затворила наших дверей, твои друзья остались моими друзьями, ничто не остановилось, ты сохранил свое место в жизни. Самое существенное было нам даровано; я это говорю, я это повторяю самой себе, я хочу в это верить. Я закрываю глаза, ты здесь, ты мне поможешь.

АЛЬБЕР МАРКЕ

(1875—1947)

Личность и творчество Альбера Марке неизменно будут вызывать симпатии любителей искусства. Марке исторически значителен и интересен тем, что в разгар всеобщего увлечения бесчисленными разновидностями формализма он оставался продолжателем прогрессивного реалистического искусства Франции. Будучи новатором, он не отбрасывал лучших традиций прошлого.

Простой, скромный и искренний художник вдохновлялся реальной жизнью, которую умел тонко и умно наблюдать. Марке проникательно усматривал в окружающем то, что считал самым главным.

Пейзаж был излюбленным жанром художника. В пейзаже Марке запечатлел и привычные наблюдения из окна парижской мастерской, и «открытия» новых стран в своих многочисленных путешествиях по Европе и Африке. Он умел показать исторические здания и места с такой новой, оригинальной точки зрения, что обновлял и повышал интерес к ним.

При всем многообразии произведений живописи и графики творчество Марке привлекает своим глубоким внутренним единством и цельностью.

* * *

Эта книга о Марке написана его женой Марсель Марке — профессиональным литератором (ее литературный псевдоним Марсель Марти). Книга появилась на свет, как рассказывает сам автор в предисловии, по просьбе друзей, подсказавших мадам Марке этот путь психологического освобождения от тяжелого состояния подавленности после смерти мужа. Согретое большим личным чувством, повествование то льется спокойным потоком воспоминаний, то движется скачками с нарушением хронологического порядка, внешне подчас непоследовательно, но всегда сообразно внутренней логической закономерности.

На первый взгляд в такого рода книге можно опасаться слишком субъективной окраски событий, фактов, характера и поступков ее героя. Но Марсель создала правдивый конкретный образ Марке — человека и художника. Именно человеческие качества Марке, скрытые под оболочкой застенчивости и сдержанности от глаз постороннего наблюдателя, но выявленные Марсель Марке, позволяют глубже понять особенности его художественного мышления. Личность творца не может быть безразлична исследователю. Поэтому так ценны бывают для нас воспомина-

ния друзей, свидетельства современников и дневники самих художников. Книга Марсель Марке занимает особое место среди такого рода биографических документов. В ней есть объективность наблюдателя, но не равнодушного, а сопереживающего событиям жизни героя. В ней есть женственная проникновенность в самые глубины его личности и какая-то материнская осторожность, с которой она касается самых больных и скрытых язв души Марке — сознания своей физической уязвимости. Повествование о детских годах Альбера, о семье, школе и любимых занятиях раскрывает тайные пружины характера художника: силу самоутверждающего таланта, преодоление собственной слабости, устойчивость и серьезность чувств и отношений к людям (любовь к матери, ненависть к жестокому учителю) и, что самое удивительное, — рано возникшее чувство соотношения своей личности с окружающим миром. В детстве, затем в юности и до конца жизни Альбер Марке не ощущал себя затерянной в хаосе песчинкой, в нем не было и эгоцентрической слепоты, когда самовлюбленное «я» подменяет собой все богатство жизни. С раннего возраста осознал он себя органической частью общего единства мира природы и людей в их повседневной жизнедеятельности. Семья, мать воспитали чувства Альбера. Южная природа, чудесная суeta большого порта Бордо раскрыли любознательному ребенку богатство и разнообразие мира, стали основой его будущего художественного видения.

По переезде семья Марке в Париж в 1890 году Альбер поступил в Институт декоративных искусств, где преподавание велось традиционными методами, а затем перешел в Школу изящных искусств под руководство Гюстава Моро. Здесь открылась новая страница в художественном образовании Марке. Марсель Марке говорит о Гюставе Моро и его авторитете среди учеников со снисходительной иронией, вполне понятной в годы, когда творчество Моро воспринималось уже как «старомодное» поколениями, пережившими художественные искания нескольких десятилетий XX века. Время ученичества Марке было иное.

Гюстав Моро (1826—1898) был видным лицом художественного мира. Материальная обеспеченность давала ему возможность создать удобную, красивую, импозантную обстановку для занятий живописью. Его широкий культурный кругозор охватывал и занятия археологией, и увлечение мифологией, литературой, философией. Моро следил за всеми интеллектуальными течениями своего времени. Поэты-символисты 80-х годов видели в нем собрата по искусству, восхищались литературностью сюжетов его живописи. Моро обращался к Библии, мифологии, старинным легендам, но трактовал их не в героическом плане, а разворачивая напряженные психологические ситуации с оттенками мистики и изыскан-

ной эротики. Как и у писателей-символистов того времени, излюбленными персонажами его были Иродиада, Саломея, Суламиф, Эдип, сфинксы, прекрасные юноши, загадочные девы, покорные чудовища и тому подобное. Все они представляли в обстановке стилизованной роскоши Востока. С уверенной виртуозностью кисть Моро придавала этому фантастическому миру телесность и материальность. Гоген язвительно говорил о Моро, что «каждую человеческую фигуру он превращает в драгоценность, увешанную драгоценностями».

В 1892 году прославленный художник был приглашен профессором в Школу изящных искусств и сумел войти в контакт с новым поколением художников. Он владел чудесным даром педагогического мастерства — не подавлял творческой индивидуальности своих учеников. В его мастерской молодые живописцы оказывались в атмосфере художественной культуры, привыкали познавать и ценить искусство старых мастеров. Моро считал обязательным посещение Лувра и копирование его шедевров, предоставляя одновременно свободу выбора картины. Вместе с тем он советовал делать наброски и зарисовки уличных впечатлений и не боялся признавать, правда, с оговорками, талант Мане, Сезанна или Ван-Гога, что было достаточно смело для профессора того времени.

Как могли сложиться взаимоотношения Марке с этим мэтром? Их часто определяют словами Моро, называвшим Марке своим «интимным недругом». Они говорят и об отталкивании и о притягательности. Очевидно, Моро угадал устремленность и талант ученика, а Марке сумел рассмотреть то подлинно ценное, что было в живописи Моро, — ее неакадемическую красочность, силу цвета, а в нем самом — увлеченность искусством. Недаром такой внутренне строгий к людям Марке сохранил в памяти уважение к своему мэтру.

Целый комплекс живых впечатлений от лет учения прочно осел в душе Марке. Навсегда сохранил он вкус к посещению Лувра, где копировал Шардена, Пуссена и Лоррена. Стихи полюбившихся тогда поэтов через много лет не утратили для него своего звучания. Недаром избрал он символистические стихи Лафорта, чтобы поделиться с женой предчувствием смерти:

«Громко стучат мое сердце —
Мама меня зовет...»

И все же главную роль в художественном развитии Марке сыграло живое общение с товарищами по учению, вместе с которыми прошел он в начале своего творческого пути. Из мастерской Моро вышла большая группа талантливых молодежи, отметившая своими именами новый этап в развитии французской живописи XX века. Это были прежде всего

Матисс, затем Камуэн, Манген, Руо, Жан Пюи. Вместе с примкнувшими к ним впоследствии Фриезом, Дюфи, Вламинком, Дереном, Ван-Донгеном и Браком художники выступили в «Осеннем Салоне» 1905—1906 годов. Об этой выставке Матисс писал, что часть зала с красочно пламенеющими полотнами его друзей публика называла «клеткой дикарей». Кличка «дикие», по-французски «фов», закрепилась за группой.

Фовизм, как новое направление, бросился в глаза прежде всего особенностями цвета. Интенсивная красочность с непривычными сопоставлениями цветовых пятен воспринималась как дисгармония. Рисунок казался слишком своевольно обозначающим формы, объемы и пространственные отношения. Признанный вождь группы Матисс говорил: «Я стремился просто выразить цветом свои ощущения». Дюфи на обвинения в отходе от натуры заявлял: «Натура — это, дорогой мой, только гипотеза». Фовисты считали, что нужно как можно дальше отойти от подражания естественному цвету окружающего и что чистым цветом достигается более сильная, непосредственная, очевидная реакция. Особенно важно было достигнуть светоночности цвета. В композициях фовистов выступала тенденция к декоративизму.

Единство группы длилось недолго. Наиболее ярко и действительно ова выступает в 1905—1907 годах. Но уже нарождаются новые группировки и направления — предшественники сюрреализма и абстракционизма. Лишь Матисс следует в направлении, намеченном фовизмом, остальные пойдут каждый своим творческим путем. Отходит от фовистов и Марке, объединившийся с ними в основном из чувства товарищества. Но и этот кратковременный этап не был для художника случайным, как вообще не было случайностей и метаний в его деятельности. Именно тогда нашел Марке изобразительную основу для воплощения своего собственного художественного видения. Он обладал даром тонко улавливать основной цветовой тон пейзажа и вещей. Как характерен эпизод из его детства, о котором рассказывает Марсель Марке, когда ребенок Альбер хотел зачерпнуть из моря синей воды! По-детски он думал, что это и есть ее окраска, но по существу то было зрительное восприятие синевы как таковой, как цвета доминирующего. Подобно этому, взрослый художник видел белизну домов Алжира и северного снега, зелень и желтизну листвы, разноцветные пятна флагов на судах и вывесок на домах. Особенность Марке была еще и в том, что цветом он изображал свет, освещение, что это были не просто сырые краски из тюбика, наложенные на холст для самодовлеющего живописного эффекта. Цветовые отношения в картинах Марке были эстетическим путем познания натуры, перед которой он благоговел. Для Марке натура была не «гипотезой», а истинной, питавшей его искусство до конца жизни.

Обнаженное тело и портрет всегда останутся пробными камнями изобразительных возможностей художника. Работы Марке в этой области известны менее, чем они того заслуживают. Большинство портретов относится к раннему периоду. Это родители, родственники, друзья и автопортрет 1904 года. К тому же времени относится «Портрет сержанта колониальных войск». Поза сержанта кажется неустойчивой: он сидит на какой-то хрупкой табуретке, положив ногу на ногу. Грубость, примитивность его натуры, важничанье званием переданы не столько выражением лица, недоверчивым боковым взглядом больших глаз, сколько всей красочной гаммой портрета. Так и лезет в глаза желтизна золотых тяжелых эполет, аляповатых пуговиц и красных нашивок и кантов на темно-синем мундире. Воздушная голубая окраска гладкой стены, служащей фоном, и мягкие терракотовые пятна ковра подчеркивают тяжеловесность фигуры.

Значение не только колорита, но и линейного ритма для психологической характеристики модели прекрасно выражено в «Портрете жены художника» (1931), тонко передающем ее душевную грацию.

По поводу этого портрета Марсель Марке интересно рассказывает о самом методе работы художника.

Заказных портретов Марке не писал. Он не мог позволить постороннему человеку увидеть то душевное состояние, в котором он бывал в процессе работы. Обнаженные натуры Марке писал главным образом в годы учения. Но и тогда и впоследствии он имел единый подход к этой теме. Его женские образы не заключают в себе ни сладострастного восхищения Ренуара, ни матиссовского перевоплощения женщины в декоративный иероглиф. Очень метко охарактеризован Марке в этом плане Фрэнси Журденом: «Марке писал женщину — Жанну или Мари, имя не играет никакой роли. Эта женщина, которая только что разделась, это ее ремесло — раздеваться в мастерской и стоять как можно неподвижнее. Это не святая и не проститутка». Марке не включался в мир ее переживаний и настроений, но и не требовал театрализованной позы. Поза оставалась свободной, то есть органически свойственной данному телу, сущность которого и стремился передать Марке. Он был так наблюдателен и так правдив, что как бы помимо намерения достигал портретной характеристики в мимике лица, в структуре всего тела, в его позе и движениях. Марке не выписывает деталей, не увлекается осязающей передачей поверхности кожи или волос, но тело не становится изолированным объемом, оно живет в пространстве и световой среде. Положение по отношению световой направленности может представить какую-то часть тела плоской, затененной или высветленной, но будет ли это почти силуэтное изображение, контржур, освещенное боковым светом в ин-

терьере или солнцем в пленере,— оно всегда останется анатомически правдивым и выразительным, несмотря на обобщенность изображения¹.

Марсель Марке очень верно описывает особенности рисунков обнаженного тела у Марке. Они недостаточно оценены в литературе о художнике, а между тем как раз рисунки обнаженной модели дают ключ к пониманию Марке как рисовальщика. У него не было единожды избранной манеры рисунка. По отношению к каждой новой модели он искал адекватную ей линию: тонкую, с нажимом или штриховкой. То он ведет линию плавно и слитно, то угловато сталкивает ее с другими, то прерывает и затем продолжает как бы после паузы в нужном направлении от исходной точки. Такой прием могут позволить себе только первоклассные рисовальщики. Линия не вырезает на бумаге плоский силуэт, но ее умелая прерывистость создает в глазах зрителя иллюзию объема и пространственного окружения.

Наблюдение и изображение обнаженной модели дали Марке неподражаемое умение живо передавать в рисунке маленькие человеческие фигурки, заполняющие улицы, набережные, причалы и пляжи. Иногда это всего лишь несколько черточек, завитков, точек, но в них есть полноценное, живое человеческое тело, выраженное сжато и сокращенно наподобие математической формулы. Нет никакой нарочитой деформации. Изображения кажутся такими же достоверными, как мельчайшие фигурки в толпе на офортах Калло. Напоминает Калло и удивительная тонкость линий и новое по приемам, но свойственное обоим рисовальщикам стремление передавать не разрозненно расставленные одна возле другой отдельные движущиеся фигурки, а движение групповое, массовое, направленность которого определяется композицией в целом. Именно такому главному, основному по выразительности и целеустремленности замыслу подчинены и движения в однофигурных рисунках Марке. В основе их лежит сосредоточенное наблюдение.

И Делакруа и Энгру приписывается наставительное обращение к ученикам о том, что надо научиться зарисовывать на лету позу человека, пока он падает с крыши. Марке в таких уроках не нуждался бы. С детства в бордосском порту полюбил он следить за движением толпы и отдельными разнообразно занятыми людьми. Возможно, следует принять еще во внимание и близорукость Марке. Ведь близорукий человек привыкает, не видя отчетливо деталей, угадывать издали, узнавать людей, животных, всевозможные предметы именно по общим очерта-

¹ «Контржур», 1909; «Ню на фоне испанской шали», 1918; «Сиеста», 1935.

ниям, по общей направленности их движения, определяя их доминирующий цвет. Уличная жизнь Парижа питала в дальнейшем эту склонность Марке к наблюдению и вызывала желание фиксировать мгновенные впечатления. Эта сторона таланта Марке нашла замечательное воплощение в иллюстрациях, сделанных им в 1903 году к книге Шарля-Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса». Иллюстрации не были опубликованы при жизни художника. В своей книге Марсель Марке кратко отмечает, что они не понравились издателю, и очень живо описывает ловкого хищника-маршана, овладевшего большим количеством рисунков Марке и понемногу выпускавшего их на продажу. Лишь после смерти Марке, благодаря неустанной энергии вдовы художника, удалось завершить, казалось бы, безнадежное дело — в 1958 году издательство С. Куле и А. Фор выпустило книгу Шарля-Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса» с иллюстрациями Альбера Марке. В предисловии Марсель Марке повторяет историю неудачи и пропажи части рисунков и радостно сообщает, что благодаря помощи истинных знатоков и почитателей-коллекционеров ой удалось собрать разрозненное в единое целое, включив и то, что оставалось в папке Марке с его собственноручной надписью: «Данные рисунки были выполнены мною для издания, проектировавшегося Универсальной библиотекой, и взяты из альбома набросков. Марке». (Эта надпись факсимильно воспроизведена в книге.) Иллюстрации не выделены в особые таблицы. Они сопровождают текст на полях страниц, что полностью соответствует и стилю рисунков, и характеру повествования, и литературной манере писателя. Сверстники — Марке и Шарль-Луи Филипп — дружили между собой. Они любили вместе побродить по улицам и посидеть в уличном кафе, глядя на людской поток. Эта дружба едва ли затрагивала большие душевные глубины, ведь всегда приходится помнить, как внутренне замкнут был Марке, как часто он давал повод неверно судить о своем характере. Так и Филипп считал Марке по натуре безжалостным; считал, руководствуясь его трактовкой образа человека. Однако Филиппа привлекала сжатость изобразительных характеристик, облажавшая существо наблюдаемой природы: поэтому, подумав об иллюстрациях к своей книге, он прежде всего вспомнил о Марке.

В чем проявилась особенность Марке как иллюстратора? Прежде всего он не намеревался подменять собой автора, соперничать с ним и давать как бы зрительный дубляж текста. Такого типа иллюстрации мертвенны, как голос диктора, читающего переводной текст фильма. Ни одно из действующих лиц в книге не представлено в портретной манере, не изображается и место действия различных эпизодов. Марке согласно вторит методу писателя, как будто наудачу выхватившего своих героев из потока мелькающих прохожих. Понять этот прием помогает рассказ

Марсель Марке о том, как они с мужем, живя в отеле, развлекались тем, что давали неизвестным приезжим имена и, смотря по наружности, одежде и поведению, придумывали и приписывали им различные характеры, поступки и приключения. Эта черта и лежит в основе книги Филиппа и иллюстраций к ней Марке. Фабула, развитие сюжета, герои и их переживания интересны для них не сами по себе, но как наглядная иллюстрация воздействия социальной среды, которую надо уметь наблюдать под любой оболочкой, под которой и писатель и художник умели угадывать самое существенное. Поэтому так справедливы слова, которыми Марсель Марке заканчивает предисловие к «Бюбю с Монпарнаса»: «Наброски Марке остаются по-прежнему живыми. Костюмы изменились, но Марке видел тех, кто сейчас ходит по улицам, едва волочась или пританцовывая, будь то усталая девица или та, которая увлечена своей молодостью, будь то мужчина, уже отяжелевший, или неизменно уверенный в себе фат. Они по-другому одеты, но у них те же заботы и те же средства самозащиты. Эпоха Бюбю с Монпарнаса миновала. Девицы не носят больше юбок, волочащихся по земле, пиджаки не так узки, но под изменчивой внешностью продолжает жить основное, извечное, что и дает возможность рисункам и книгам оставаться понятными спустя многое время».

Действие повести Филиппа начинается на Севастопольском бульваре с наступлением его ночной жизни. Писатель как будто наугад выхватывает отдельные типы, прежде чем найти среди них своего героя. Так же поступает Марке: галантно ведет свою даму военный, кто-то неуклюже следует за женщиной, умело увлекающей его за собой, напористо шагает прямо на зрителя полицейский, бежит газетчик, широкими шагами идет девочка-подросток, болезненно скорчившись, тащится пожалуй мужчина, лихо танцует молодая парочка, и так на протяжении всей повести. И все это дано лишь намеками, без детализации, заставляя вспоминать Домье точностью и выразительностью движений. Иногда кисть очерчивает лишь одну сторону фигуры, предоставляя зрителю воображением дополнять белизну бумаги, воспринимаемую как световую среду. Другие фигуры подобны салютам на чернофигурных вазах с белыми, словно прочерченными линиями внутри пятна. Соотношение белого и черного дает эмоциональную окраску изображению. Очарователен образ Бэрти, когда она приходит на свидание с Морисом, и он словно ослеплен белизной ее лица в обрамлении черных волос. Черты ее не прорисованы, но выразительно передано произведенное Бэртой впечатление:

«На ней была белая шляпа-канотье, и ее черные волосы с большим узлом выделяли ее лицо, как белизну, неожиданную своей нежностью».

В другом эпизоде смятение чувств и тяжелых дум, буруевающих шагающего по улице Мориса, передано не только динамичностью его походки, но самим штрихом — широким, извивающимся и как будто панесенным с такой поспешностью, что кисти не хватает захваченной туши и местами она скользит по бумаге почти сухая, оставляя лишь неровный след.

Обобщенность изображений не отнимает у них жизненной конкретности. Будет ли то нянька с ребенком, старик с зонтом, служащий кафе и вереница женщин — всегда можно распознать прически, шляпы, фасоны платьев, манеру подобрать юбку, держать зонтик, типичные для начала XX века. Марке передает сущность моды лучше модных журналов того времени. Он видит тот общий силуэт, который является модным идеалом, в бесчисленных вариантах повторяемым в быту. Обстановка действия Марке не дает вообще никогда и нигде, точно так же как и пейзажа.

Область пейзажа нашла свое наиболее глубокое воплощение в живописи Марке. Марке не любил высказываться о том, что он хочет выразить своей картиной, и едва ли он был с Шарлем-Луи Филиппом разговорчивее, чем с другими, но кажется, что описание вида из окна одного из героев книги, живущего на набережной Лувра, было подсказано писателю художником: «Окно выходило на широкий рукав реки рядом с Пон-Неф и его маленьким сквером, где воздух, свет и вода создавали зрелище переменчивое и освежающее. Разве мы в Париже? Мы на воздушных высотах в царстве воды, где воздух вторит легкому шуму движущихся экипажей».

Пон-Неф, прилегающие к нему набережные и другие мосты с ранних лет и до последних дней оставались излюбленными сюжетами в живописи Марке.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве хранится чудесная картина Марке «Мост Сен-Мишель в Париже», датированная 1908 годом. Картина непосредственно вводит в круг проблем пейзажа Марке, в мир его живописно-художественных интересов, выявляет его связь с предшественниками и современниками и позволяет догадываться о перспективах будущего развития. Изображен светлый летний день, но небо затянуто характерной для Парижа прозрачной серебристой дымкой. Вид взят с левого берега Сены, сверху. На переднем плане сверкают белизной арки моста Сен-Мишель. Их оттеняют темно-зеленый цвет воды, кирпично-красные колонки и вывеска павильона на левом берегу. Стремительными линиями, угловато надламывающимися на поворотах, уходят тротуары и мостовая вглубь, к следующему мосту, к Пон-Неф. Суммарно обозначены фасады домов

и зеленоватые кроны деревьев. Мост пестрит зелеными, красными, синими пятнами автобусов, экипажей и пешеходов. Яркими желтыми, красными и белыми плоскостями даны вывески и афиши на правом берегу. Более четко воспроизведены здесь архитектурные формы зданий и зеленые деревья, растущие на нижней набережной. Вдали горизонт замкнут сизо-серым силуэтом высоких кровель Лувра.

Интерес к воспроизведению реального дневного света роднит Марке с импрессионистами, но художник ни в какой мере не подражает им. В картине Марке нет той колеблющейся, пронизанной светом красочной пелены, запечатлевающей колористические отношения данного короткого мгновения на пленере. Да к этому времени распалось уже и единство основной группы импрессионистов. Вместе с другими представителями художественных направлений своего поколения Марке был обязан им высвобождением чистого цвета от темноты академической живописи, но Марке нашел свои индивидуальные приемы.

Пейзажи художника значительны прежде всего своими пространственными планами. Невольно хочется вспомнить уроки Пуссена, полученные в Лувре. Марке дает классическую ясность и закономерную последовательность пространства, но привносит в него новую напряженную динамичность. Не с экспрессионистической назойливостью, но с какой-то особой уравновешенной настойчивостью Марке заставляет зрителя активно проследить те направления, по которым разворачивается пейзаж в своих деталях и составных частях. Конечно, в основе восприятия пространства лежит направленное к этой цели перспективное сокращение линий, масштабы зданий, деревьев и фигур; однако воздействует и чисто сюжетная сторона картины: экипажи и прохожие расположены таким образом, что зритель невольно следит за их продвижением в ту или иную сторону и вместе с ними как бы измеряет протяженность и направление проходимого ими пути. К той же цели направлено чисто формальное воздействие цветовых пятен. Темная зелень воды ведет глубже к деревьям справа от них; и далее к более смутной зелени слева, где она сливается с пространственным голубоватым тоном силуэта Лувра. Путь обратного движения глаза из глубины вперед и сюжетно и по цвету подсказан пароходиком, стремительно выскальзывающим из-под моста. Напор его движения вперед подкреплен брошенным на него пятном красного цвета.

Полотно «Мост Сен-Мишель в Париже» создано в 1908 году, когда Марке, как отмечает его жена, жил на набережной Сен-Мишель в доме № 19. В том же году Марке пишет «Зимний вид Парижа с мостом Сен-Мишель». Сюжет как будто тот же, разница не сразу заметна, кажется, будто художник лишь перешел к другому окну своей мастерской и ему

стал меньше виден левый берег и больше открылся правый. Но все преобразилось в картине не только потому, что на этот раз изображено другое время года. Даль скрылась теперь в серебристой полупрозрачной мгле зимнего тумана. Неясными стали очертания моста, экипажей, пешеходов. Но жизнь не замерла. Художник перенес пространственную динамику на передний план. На зрителя напирают линии левого берега и его построек. Им навстречу справа бегут светлеющие полосы снега, освещенного на бревнах и крутой лестнице нижней набережной. Господствуют серые тона, но слева сквозь туман пробивается свет и ложится бежево-розовыми оттенками на мокрую набережную. Основное же живописное построение картины определяется столкновением густой темно-серой струи дыма с клубами белого пара. Точно борясь и подталкивая друг друга, устремляются они вверх, утверждая в композиции вертикальное направление. Картина не многоцветна, но и не однотонна. Каждый цвет как будто лишь растворился во влажности атмосферы. Такой характер колорита, приближающийся к графике, гораздо больше говорит о живописном даровании Марке, чем самые яркие красочные пятна. Подобно великим графикам, Марке владел валёрами так, что различной степенью светонасыщенности черного и белого создавал представление о различной окраске.

В таком же духе, почти как гризайль, написан «Собор Парижской богородицы зимой». В глубине, в сумеречном свете серым силуэтом на белесом небе высятся башни западного фасада собора. Снегом покрыты площадь, набережные, мост, крыши домов. Смутны все архитектурные очертания, бесформенными пятнами темнеют экипажи и человеческие фигуры. Белый цвет, подобно снегу, захватывает полотно картины, но поверхность эта не однообразна. Всюду по-разному, в зависимости от высоты и глубины пространства, снег, камни, река то поглощают, то отражают сизо-серые тона влажного воздуха — картина, как и другие вышеупомянутые, написана уже сложившимся живописным почерком художника.

Марке освободился тогда от неоправданной густоты краски начального периода. Уверенно, свободно, каждый раз по-новому, как того требует форма и значение предмета в общей композиции, кладет он краску, то бросая компактный мазок, то проводя длинный, стремительный штрих, усугубляющий задуманный эффект динамичности.

С этой поры Марке окончательно становится парижанином, то есть человеком, для которого Париж — это символ родины, дома и всего прекрасного на свете. Как любящий сын и преданный патриот Парижа он неустанно вглядывается в его черты, воспроизводит их в своей живописи, выбирая не репрезентативные виды и здания, а такие уголки, где, ка-

жется, и живет душа города. «Если художник хочет показать Париж, он будет писать Сену» — такими словами определил Жан Кассу художественный образ Парижа. Так и поступает Марке. Вновь и вновь возвращается он к Пон-Неф, к мосту Сен-Мишель, к другим мостам и набережным вокруг Сены, вокруг сердца Парижа, вокруг собора Парижской богородицы. Чуть передвигается точка зрения, перестраивается слегка композиция, меняется погода, меняются и времена года. Снег, дождь, туман, солнце дают новое освещение, а следовательно, определяют и колорит новой картины.

Марке писал собор Парижской богородицы зимой 1901, 1908, весной 1914, в июле 1922 года, не считая тех картин, где собор предстает дополнительно к другому виду. Эти повторные воспроизведения собора не похожи, однако, на эксперименты Клода Моне с Руанским собором, когда он улавливал изменения цвета на пленере в течение дня. Как будто вспоминая Клода Лоррена, Марке не стремится запечатлеть мгновенное освещение, он хочет найти типическое, преобладающее, которое сообщает свою особую выразительность одному и тому же архитектурному комплексу. В каждой картине при этом камертоном всей красочной гаммы служит цветовая окраска Сены. Пейзажам Марке удивительно созвучен литературный образ города, созданный Жаном Кассу в его «Парижской рапсодии». «Небо Парижа цвета воды, его вода — цвета неба. В них омываются его камни, и их потускневший серый цвет вновь оживляется нюансами самыми тонкими, самыми нежными, ласкающими взор и сознание. Потому что радостно осознавать то, что схвачено глазом, радостно распознавать части целого и все мельчайшие и тончайшие мазки, которые дают подлинное наслаждение. Источник и владыка этой гармонии — вода. Это она доминирует во всей картине, она подчиняет себе небо и камни. Красота души Парижа — его река. Эта старая Сена со своим прекрасным изгибом, широким и грациозным, как жест нимфы. Она дыхание и жизнь Парижа. И цвет, охватывающий Париж до самого неба, отражающегося в ее зеркале, — это цвет Сены».

Недаром «Парижские рапсодии» Жана Кассу иллюстрированы литографиями и рисунками Марке.

О том значении, какое имел Париж для сознания и творчества Марке, его жена говорит неоднократно в своей книге. Не менее интересно говорит она и о его страсти к путешествиям, которую она с удовольствием разделяла. Несколько страниц посвящены точным указаниям, где и в какое время побывал Марке, делая всюду свои зарисовки и работая масляной живописью. Необходимо отметить при этом, что Марке никогда не завершал картины в мастерской. Он со скрупулезным упорством держался метода работы непосредственно с натуры.

Очень ценно и справедливо суждение Марсель Марке о творческом состоянии Альбера Марке в этих путешествиях: «Каково бы ни было арелище, он оставался (так делают и другие, но у него это было особенно сознательно) тем же самым человеком, и все с той же неподкупной честностью, с тем же живым напряжением старался как можно точнее ухватить трепет жизни. В этом чередовании разъездов и пребываний в самых различных странах он рисковал разменяться, раствориться, не будь он так прочно сложен и так тесно связан с теми же упорными исканиями».

а. Во всех многочисленных картинах Марке, воспроизводящих различные географические зоны и города, есть общая черта. Просматривая их одну за другой, замечаешь, что среди них почти нет изображений гористых местностей, нагромождения гор и скал, закрывающих горизонт. И невольно вспоминается эпизод, так живо описанный в книге Марсель Марке, как тревожно чувствовал себя художник в теснине гор при переезде через Симплон. Марке любил открытые горизонты моря. В морских пейзажах горы включаются лишь как полупрозрачные силуэты дальнего плана, будь то Неаполь с Везувием, норвежские фьорды или залив Туниса. В заливе Туниса запечатлена также одна из очень немногих морских бурь, которые встречаются в пейзажах Марке. Нет у него ни одной картины с грозно набегающими волнами, какие любил изображать Курбе. Марке рассматривает бурное море не вблизи, а издали, с высоты, откуда видна общая картина прибоя и волны сливаются в единые протяженные водяные валы, ритмически следующие один за другим. Трудно вспомнить какой-либо пейзаж Марке, где бы не видно было водной поверхности. Причем она всегда спокойна, но в спокойствии своем бесконечно разнообразна. Разнообразие это происходит от изменения цветовых оттенков. Они даны не ради декоративного эффекта, но появились в результате пристального наблюдения природы. Словесные описания их бессильны определить различие, и такие, например, картины, как «Порт Гонфлер», «Везувий», могут со слов показаться одинаковыми, так как в обеих на первом плане расстилается спокойная морская гладь, вдали высится силуэт берега, по воде плавают пароходики, парусники и гребные лодки. Однако, глядя на эти картины, никто не делает географической ошибки в определении местности — так различно их освещение. Нужно отметить, что в изображении южной природы Марке никогда не поддавался соблазну повторить ее всем известные, излюбленные туристами красоты. Резким контрастам и эффектным сопоставлениям он предпочитал общую красочную гармонию, в которую складывается цвет неба, воды, отражение света, влажные испарения — все, что характеризует определенный климат, время года и погоду.

Через всю жизнь Марке пронес способность к свежему непосредственному зрительному восприятию. Ему было уже 43 года, когда в 1920 году перед ним впервые предстал Алжир.

Как отмечает Марсель Марке, это было «в январское солнечное утро...». «Он был поражен, увидя, как все вокруг ослепительно и зелено». Однако Марке не был ослеплен. Верный своему методу, он стал искать и нашел общий красочный тон Алжира, присущий ему, как запах моря портовыми городам или угля в угольных районах. В собрании Марсель Марке хранится чудесный «Вид Алжира со стороны мола» (1920). Точка зрения на город взята снизу. Розово-золотистой сплошной стеной встают до самого верха его строения с плоскими крышами. Нет резких теней, воздух как бы насыщен солнечным светом, в котором растворяются архитектурные формы, отмеченные лишь равномерным ритмом арок, окон и кровель. Отражение города блестит и дрожит в воде, колеблемой движением лодок.

С последующими приездами в Алжир в живописи художника появилась новая нота. Она впитала в себя цвета, описанные Марсель Марке:

«Шестимесячное пребывание в Сиди-Бу-Саиде вспоминается как нечто неземное, окруженное и пронизанное светом.

Мы жили одни в краю синевы и белизны, на высокой скале, господствующей над морем». Замечательно запечатлено это в картине «Улица в Сиди-Бу-Саиде» (1923), которую, естественно, Марсель Марке оставила в своем собрании. Белая фигура женщины на фоне белой стены, белые геометрически простые очертания дома на фоне отдаленной синевы моря, сливающегося с небом, зеленые пятна пальм, выглядывающих из-за ограды. Тени легки и прозрачны. Зеленый цвет также стал новой привязанностью Марке. Неоднократно помещает он на первом плане плотную группу южной растительности, своими свободными очертаниями оттеняющую строгий ритм южных домов и улиц. В 20-х и 30-х годах Марке уделяет больше внимания пейзажам с зеленью. Однако, верный себе и натуре, он никогда не вводит произвольно в картину полюбившийся ему в данное время цвет. Обращаясь к любому периоду его творчества, можно говорить о доминирующих в данное время сюжетах изображения, но не о преимущественном применении одного какого-либо цвета.

Вообще Марке предпочитал сизые, серебристо-серые, лиловатые прозрачные оттенки воздушной атмосферы, но не боялся ярких цветовых пятен там, где они характеризовали лицо данной местности. В «Порте Гонфлер» (1911) в воздухе реют яркие разноцветные флаги, написанные с какой-то подчеркнутой материальностью красочного мазка. Так и в «Пляже Сабль д'Олонн» (1921) пестрят на первом плане палатки, флаги,

одежды отдыхающих, потому что это и в действительности бросается в глаза зрителю, и только потом взор отдыхает, уходя в глубину, в спокойную голубизну моря, где белеет парус.

Напрашиваются сравнения пейзажей Марке 20-х и 30-х годов с работами его сверстников и прежних спутников по фовизму, хотя бы Дюфи. А сравнивая, невольно преклоняешься перед постоянством вкуса и взглядов Марке на соотношение искусства и действительности. Если «Старый порт в Марселе» Дюфи восхищает своей красочностью и талантливой выдумкой «по поводу» Марселя, то заливы, порты, города и реки Марке заставляют полюбить натуру, увиденную глазами художника. Марке не фотографирует и не навязывает, он умеет убеждать. Марке не любил словесных высказываний и теоретизирования, но одно из немногих замечаний, приводимых Марсель Марке, включает в себя всё. «У меня нет другого средства выражения, кроме живописи и рисунка. Смотрите. Если вы меня не поймете — это значит, что мне не удалось высказаться или что вам не дано понять. А я не могу сказать ни больше, ни по-другому. Я сделал как мог лучше».

С 20-х годов для Марке все более любимым способом высказывания становится акварель. Одним из лучших достижений в этой области является серия акварельных видов Венеции, пребывание в которой так увлекательно описано Марсель Марке. (После смерти художника ее усердием акварели были изданы в факсимильном воспроизведении.) Венеция отражена и в живописи Марке. Он писал картины, где были видны и Дворец дождей, и колокольня на площади св. Марка, и другие архитектурные достопримечательности, встреча с которыми первоначально страшила Марке. Правда, он отодвигает их в глубину, уступая пространство первого плана подвижной водной поверхности и подчиняя все детали воздушной дымке, которой славится Венеция и которая так покорила Марке.

Куда бы ни приезжал художник, он определял лицо города не историческими памятниками, а освещением и человеческой деятельностью. Не менее поэтичными, чем перистые ветви алжирских пальм, считал он ажурные контуры подъемных кранов, дымящиеся трубы пароходов, силуэты парусников, стремительные линии мачт. Теснясь, обгоняя, пересекая друг другу путь, суда говорят о напряженном темпе жизни больших морских портов, как Гавр, Гамбург, Роттердам, Марсель и другие.

Изображение парусников связано у Марке с морскими пейзажами, вызывающими ощущение созерцательного покоя. В таких картинах, как «Ла Рошель», «Ла Шом», «Парусник в Порккероле», мерный ритм, в котором чередуются суда, уходящие в туманную даль, достигает музыкальной выразительности.

Уравновешенный ритм в построении пространства проявляется у Марке особенно отчетливо в его немногочисленных интерьерах. «Мастерская в Алжире» 1944 года может считаться образцом классической живописи по четкому изображению глубины пространства, по непрерывной последовательности планов, по продуманной и строгой изысканности в пересечении простых геометрических линий. В то же время мастерская полна воздуха, без которого нельзя себе представить картину Марке.

Изменчивое освещение во влажной воздушной среде всегда оставалось притягательным сюжетом для Марке. Марсель Марке очень правдиво описывает его душевное утомление от затянувшегося во время войны пребывания на юге, где, по его словам, все «так определенно и завершено», что нечего прибавить. Но художник никогда не позволял себе придумывать небывалое, писать не то, что видит и оценивает своими глазами. И вот он сумел подстеречь день и час, когда Алжирский порт был окутан туманом, стал призраком, и только веерообразные пальмы напоминали о южной природе. В этом пейзаже воплотил Марке свою тоску по родине, по Парижу.

Всю жизнь Париж оставался для Марке властителем его дум и чувств. Из своих многочисленных поездок Марке возвращался в Париж «как в родной дом». Творческий путь художника можно было бы проследить по одним пейзажам, написанным в периоды парижской оседлости. Эти пейзажи не воспроизводят с фотографической точностью внешний вид города, но раскрывают художественную основу его планировки, по которой улицы и набережные не бессмысленно путаются и пугают человека своей непонятностью, но направляют его к манящей в дали цели, вызывают желание идти по ним и ехать и по мере продвижения открывают все новые перспективы.

Среди многочисленных вариантов, передающих различное освещение, в зависимости от времени суток и погоды, почетное место принадлежит написанному в 1938 году и хранящемуся в Музее современного искусства «Пон-Неф ночью». Трудность такой задачи, привлекавшей многих художников, разрешена Марке с исключительным мастерством и простотой. Ночная темнота не скрадывает пространственной глубины. Расположение моста, набережных и домов акцентировано огнями уличных фонарей, окон, реклам и автомобильных фар, отражающихся в мокром асфальте. Неразличимы детали, но передана динамика жизни ночного города.

Изображением Нового моста с его сквериками, с конной статуей Генриха IV, которые художник наблюдал свыше тридцати лет из окон своей мастерской, завершается творческий и жизненный путь Альбера Марке.

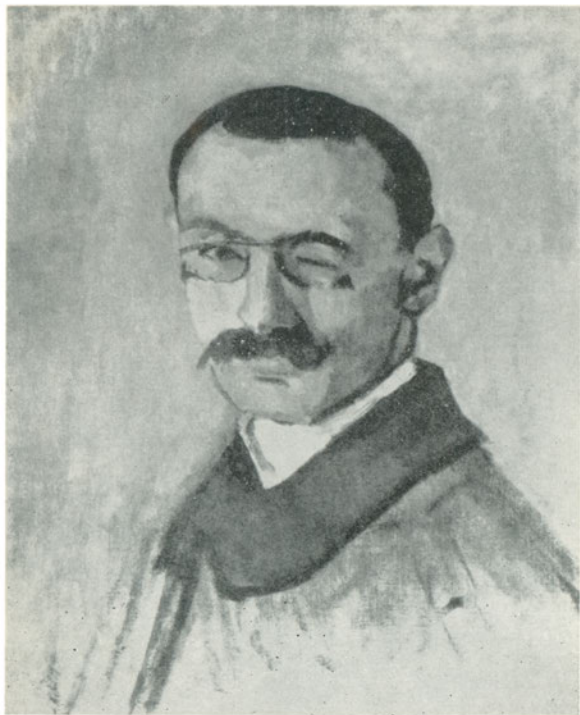
Рассказ Марсель Марке о том, как выпавший снег всколыхнул последний запас энергии смертельно больного художника, трогает не только своей человеческой печалью, но вызывает восхищение душевной молодостью Марке, его неистощимой способностью самозабвенного восприятия жизни во всех ее проявлениях и философским спокойствием перед лицом неизбежной смерти.

В заключение этих последних творческих дней «возникло», как пишет Марсель Марке, «маленькое полотно, в котором была лишь большая тонкость, нежность, затаенное согласие на исчезновение... Твое прощание...».

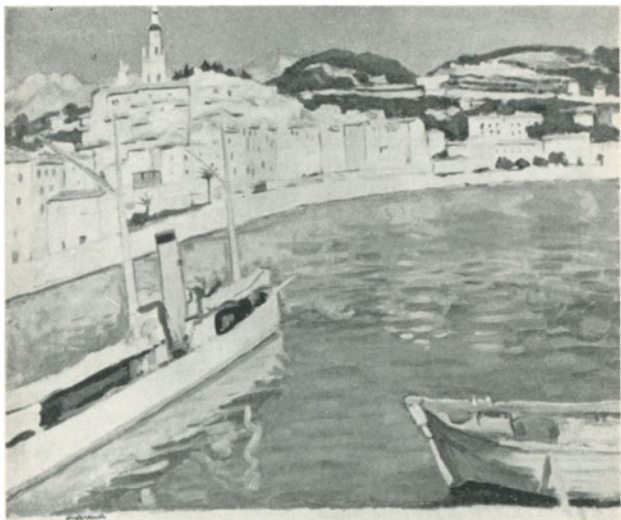
Не всякий художник может заслужить прощальные слова, подобные словам Марсель Марке о своем замечательном муже: «Живопись была смыслом его жизни, его убежищем, его языком... и единственным ответом, который он мог дать без лукавства. В ней и нужно его искать».

А. З а м я т и н а

Marquet



1. Автопортрет. 1904



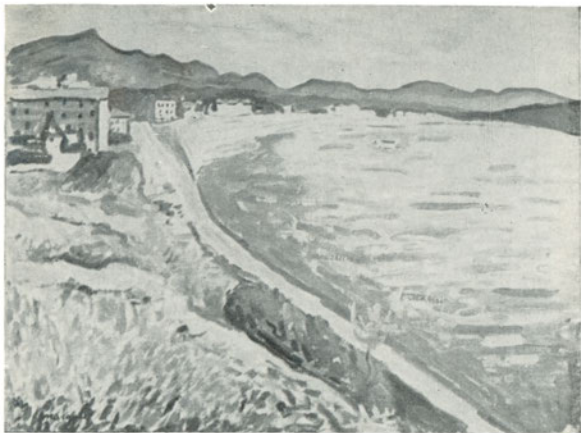
2. Ментона. 1905



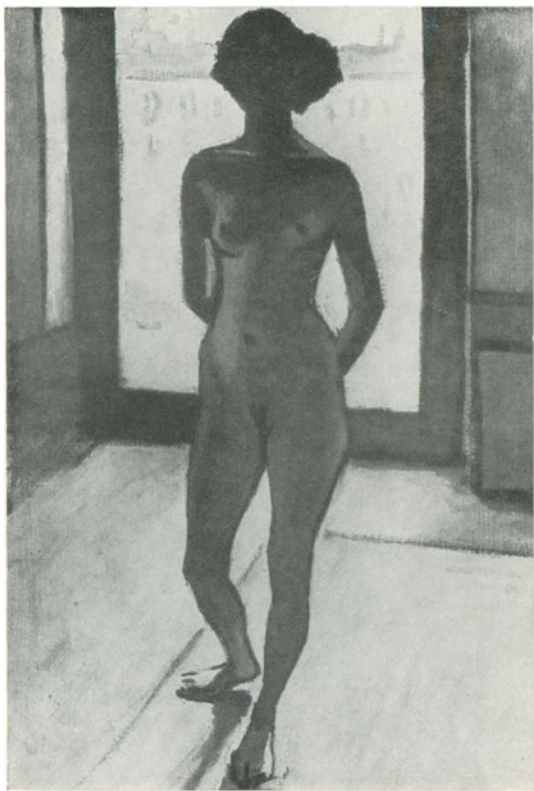
Портрет сержанта колониальных войск, 1905



4. Портрет Рувьера. 1904



5. Сен-Жан де Люз. 1907



6. Патурица на фоне окна. 1909



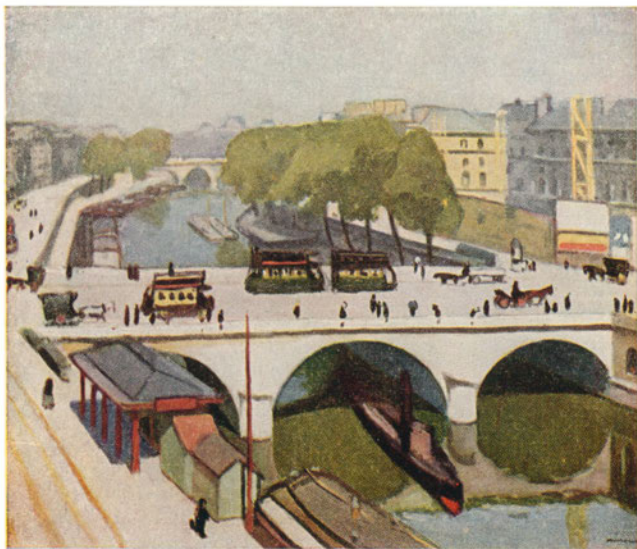
7. Трувиль. 1906



8. Улица в Коллиуре. 1908



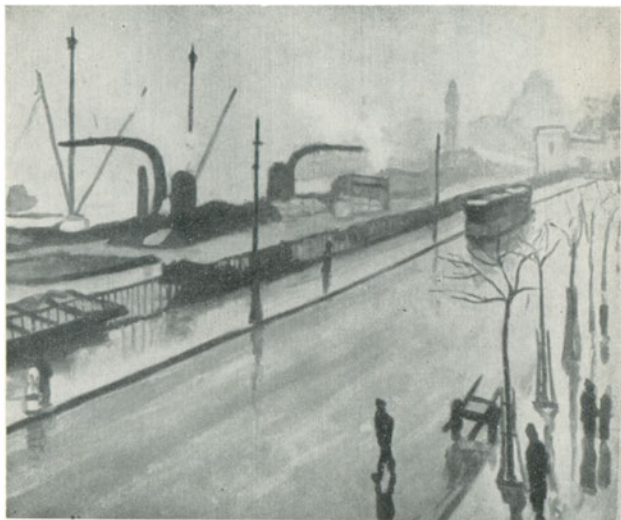
9. Парусник в Неапольском порту. 1909



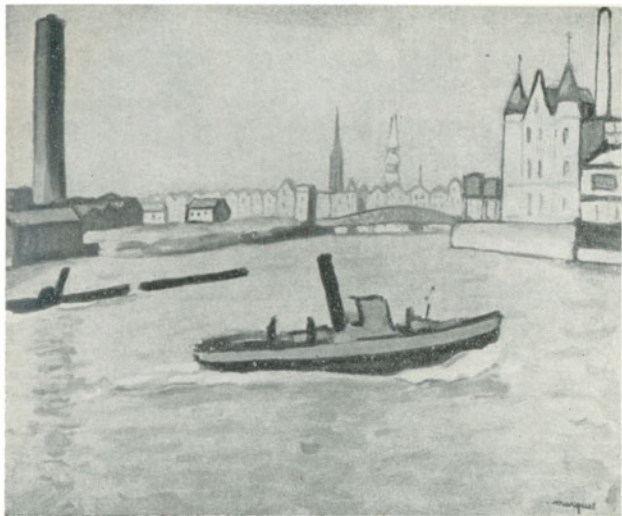
10. Мост Сеп-Мишель в Париже



11. Регата в Фекане. 1906



12. Гамбургский порт во время дождя. 1909



13. Гамбургский порт. 1909



14. Собор Парижской богоматери



15. Площадь св. Троицы. 1911



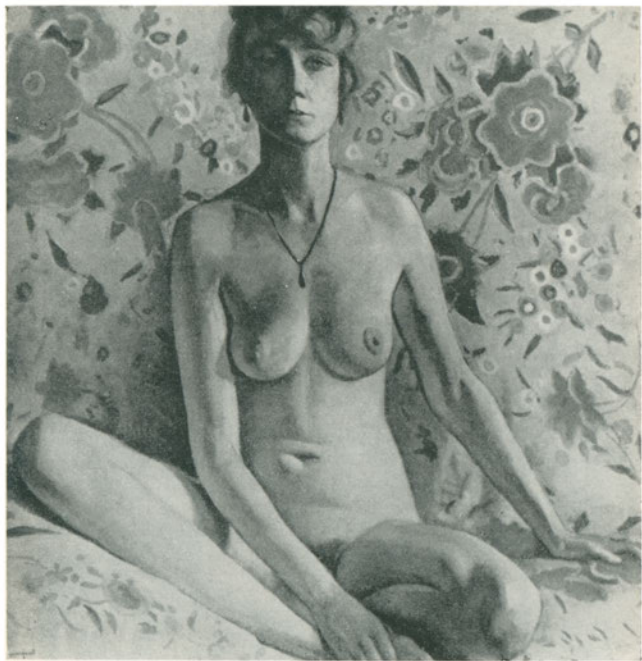
16. Везувий. 1909



17. Порт Гонфлер



18. Облаженная на голубом фоне. 1913



19. Натурщица на фоне испанской шали. 1918



20. 14 июля. Гавр



21. Пальма и дома. Акварель



22. Церковь Мадлен. 1916

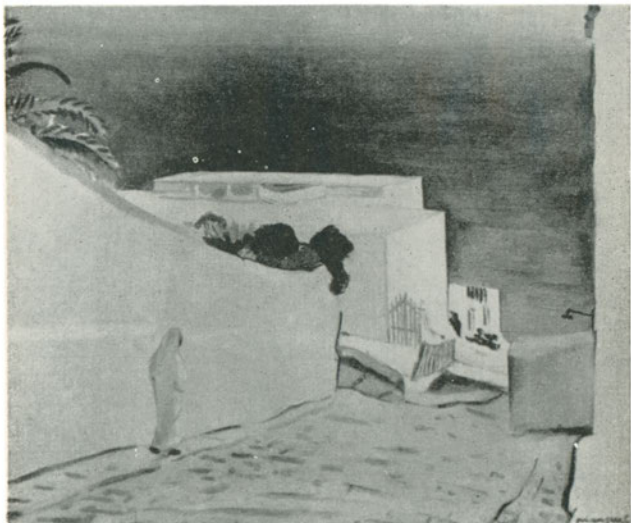




24. Алжирские женщины. Акварель



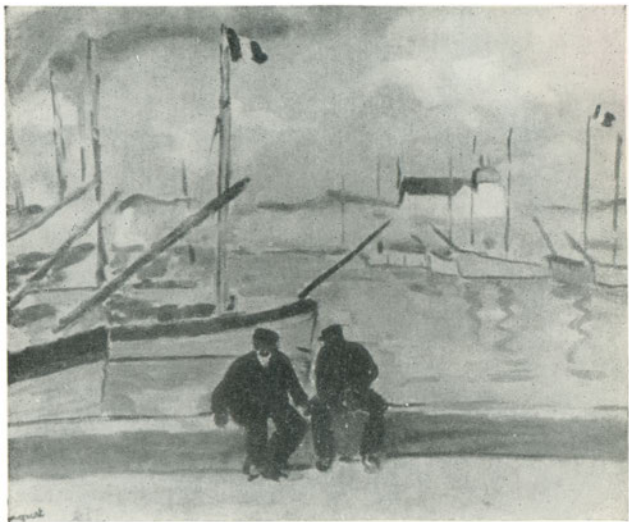
25. Пальмы. Акварель



26. Улица в Сиди-Бу-Санде. 1923



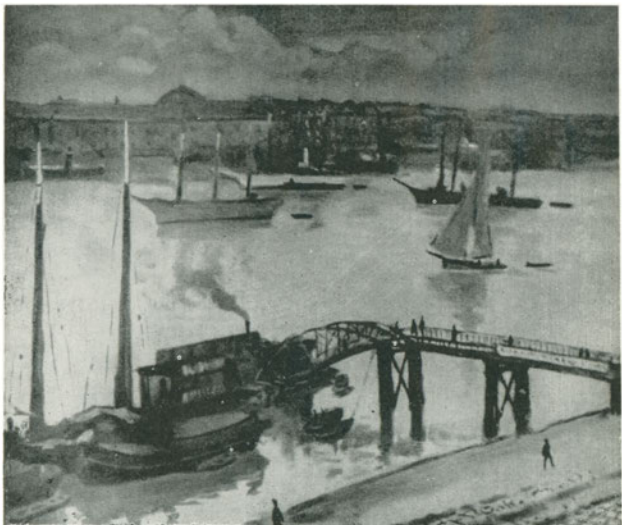
27. Вид на Алжир со стороны мола. 1920



28. Шом. 1920



29. Лето. пляж в Сабль д'Олонне. 1933



30. Мост в Бордо. 1924



31. Остров Ситта. 1924

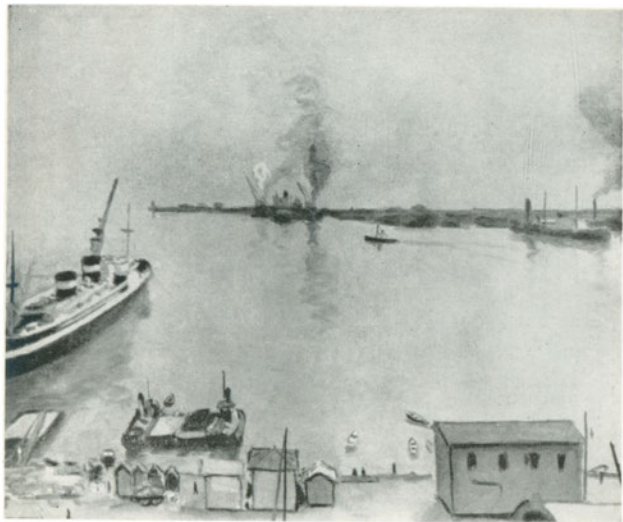


32. Улица в Бужи. 1925



33. Вид гавани в Бужи. 1925

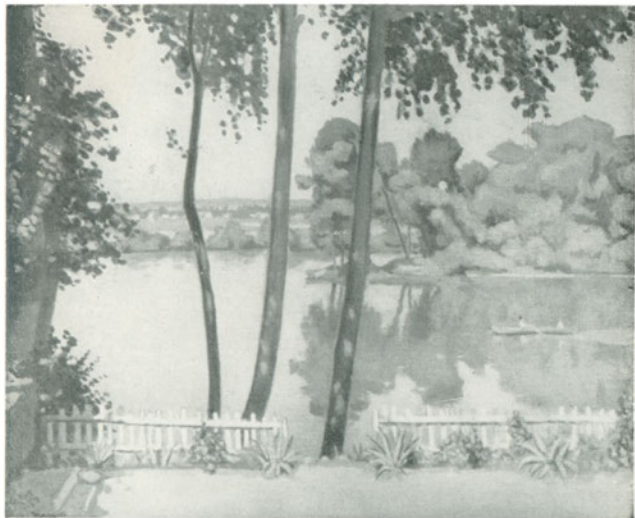




35. Алжирский порт



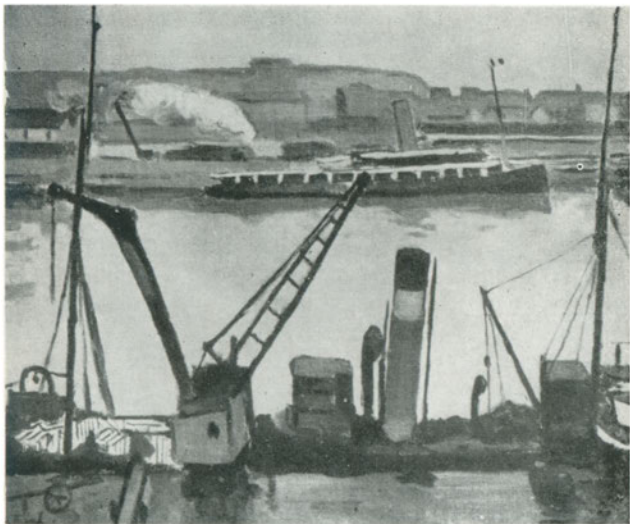
36. Старый порт. Терраса. 1927



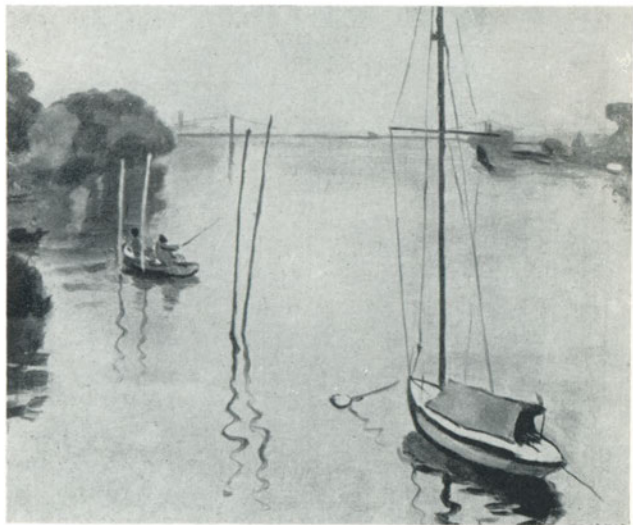
37. Белая изгородь в Пуасси. 1929



38. Одесса. 1928

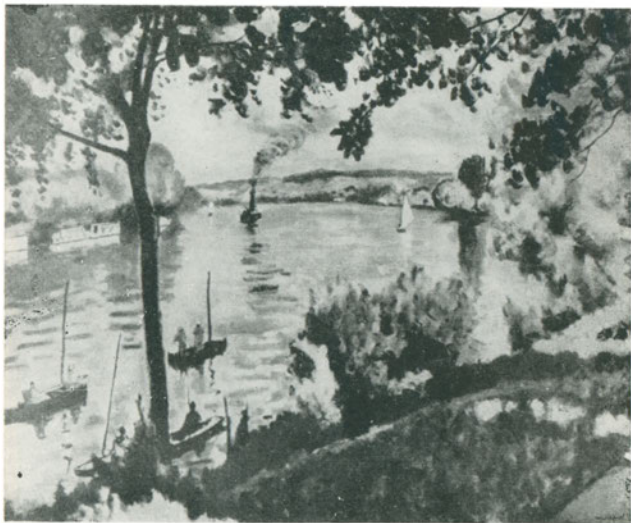


39. Булонь-сюр-Мер. 1930





41. Портрет Марсель Марке. 1931



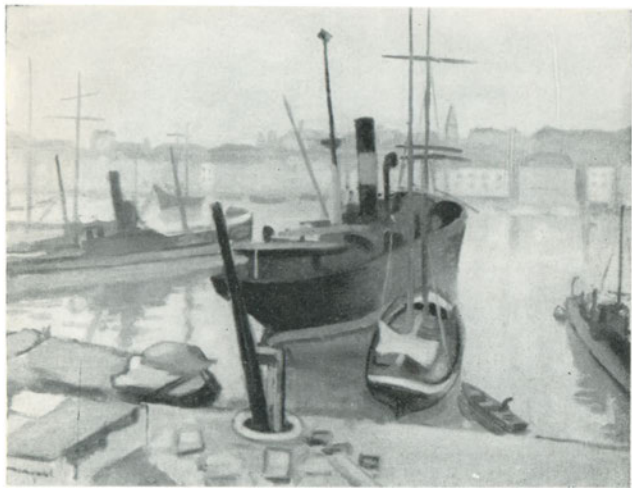
42. Побережье Трувиля. 1931



43. Сад в Сен-Рафэлле. 1932



44. Порт Гавр. 1934



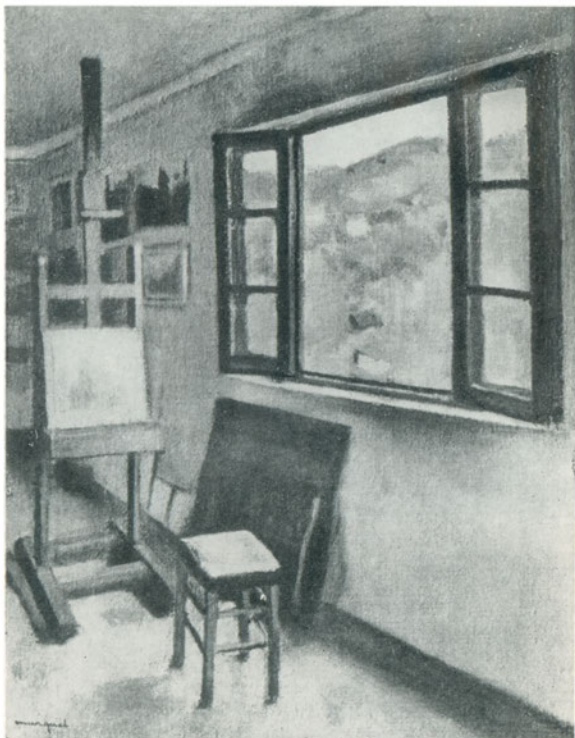
45. Порт Гавр. 1934



46. Венеция. 1936



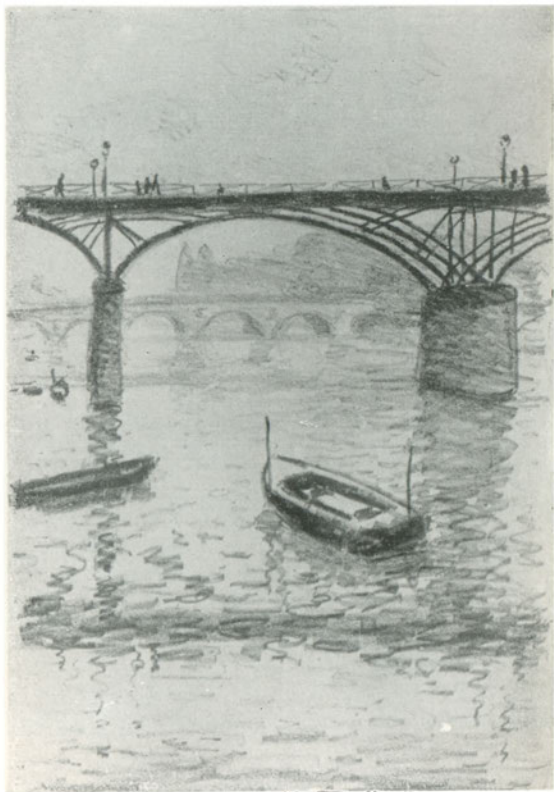
47. Парусник в Поркеролле. 1939



48. Мастерская в Алжире. 1944



49. Набережная Конти в снегу. 1947



50. Париж. Сена. Рисунок



51. Площадь Согласия. Рисунок

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- На фронте списе. Альбер Марке. Фотография.
1. Автопортрет. 1904. Собр. М. Марке.
 2. Ментона. 1905. Ленинград, Эрмитаж.
 3. Портрет сержанта колониальных войск. 1904. Собр. М. Марке.
 4. Портрет Рувьера. 1904. Париж, Музей современного искусства.
 5. Сен-Жан де Люз. 1907. Ленинград, Эрмитаж.
 6. Натурщица на фоне окна. 1909. Бордо, музей.
 7. Трувиль. 1906. Частное собрание.
 8. Улица в Коллзуре. 1908.
 9. Парусник в Неапольском порту. 1909. Собр. М. Марке.
 10. Портрет сержанта в Париже. Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
 11. Регата в Фекане. 1906. Париж, Музей современного искусства.
 12. Гамбургский порт во время дождя. 1909. Бордо, музей.
 13. Гамбургский порт. 1909. Ленинград, Эрмитаж.
 14. Собор Парижской богородицы. Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
 15. Площадь св. Троицы. 1911. Ленинград, Эрмитаж.
 16. Везувий. 1909. Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
 17. Порт Гонфлер. Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
 18. Обнаженная на голубом фоне. 1913. Собр. М. Марке.
 19. Натурщица на фоне испанской шали. 1918. Париж, Музей современного искусства.
 20. 14 июля. Гавр. Собр. Бессон.
 21. Пальма и дома. Акварель.
 22. Церковь Мадлен. 1916.
 23. Шом. 1920.
 24. Алжирские женщины. Акварель.
 25. Пальмы. Акварель.
 26. Улица в Сиди-Бу-Саиде. 1923. Собр. М. Марке.
 27. Вид на Алжир со стороны мола. 1920. Собр. М. Марке.
 28. Шом. 1920.
 29. Лето. Пляж в Сабль д'Олонне. 1933. Париж, Музей современного искусства.
 30. Мост в Бордо. 1924.
 31. Остров Ситэ. 1924.
 32. Улица в Бужу. 1925.
 33. Вид гавани в Бужу. 1925.
 34. Бужу. 1925. Собр. М. Марке.
 35. Алжирский порт.

36. Старый порт. Терраса. 1927.
37. Белая изгородь в Пуасси. 1929. Собр. М. Марке.
38. Одьер. 1928.
39. Булонь-сюр-Мер. 1930.
40. Триель. 1931.
41. Портрет Марсель Марке. 1931. Собр. М. Марке.
42. Побережье Трувиля. 1931.
43. Сад в Сен-Рафаэле. 1932. Собр. М. Марке.
44. Порт Гавр. 1934. Собр. М. Марке.
45. Порт Гавр. 1934. Собр. М. Марке.
46. Венеция. 1936.
47. Парусник в Поркеролле. 1939. Собр. М. Марке.
48. Мастерская в Алжире. 1944. Собр. М. Марке.
49. Набережная Конти в снегу. 1947. Собр. М. Марке.
50. Париж. Сена. Рисунок.
51. Площадь Согласия. Рисунок.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|------------------------------|-----|
| ГЛАВА I | 5 |
| ГЛАВА II | 6 |
| ГЛАВА III | 22 |
| ГЛАВА IV | 38 |
| ГЛАВА V | 54 |
| ГЛАВА VI | 70 |
| ГЛАВА VII | 84 |
| ГЛАВА VIII | 97 |
| ГЛАВА IX | 111 |
| ПОСЛЕСЛОВИЕ | 120 |
| ИЛЛЮСТРАЦИИ | 137 |
| СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ | 190 |

Марке Марсель

АЛЬБЕР МАРКЕ

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»

Редактор И. Я. Цагарелли

Художественный редактор Л. А. Иванова

Художники М. А. Аникст и С. М. Бархин

Технический редактор М. П. Ушкова

Корректор Б. М. Северина

Подписано к печати 30/V 1968 г. Формат издания $60 \times 84\frac{1}{16}$.

Бумага типографская № 1 и мелованная. Усл. п. л. 11,16.

Уч.-изд. л. 10,119. Тираж 75 000 экз. Изд. № 389.

Издательство «Искусство». Москва, К-51, Цветной бульвар, 25.

Заказ 3840. Цена 1 р. 07 к.

Типография «Красный пролетарий».

Москва, Краснопролетарская, 16.

